
Вионор МЕРЕТУКОВ

МЕЧТЫ О РАЕ

Роман

Я поражу всякого бешенством и безумием, говорит Господь.

Ветхий Завет. Малые пророки

И, умирая, возвращусь туда же, одни и те же врата — рождения и смерти.

Сергей Булгаков

Глава 1

От отеля «Бель ами», где проходит международная конференция по фармакологии и фармацевтике, до отеля «Бристоль», в котором проживаем мы с Боровским, можно добраться прогулочным шагом за полчаса. Сегодня Боровский решил взять такси: ему надоело утруждать свой опорно-двигательный аппарат избыточными променадами. Такси здесь кусается, но это его не останавливает: он обожает быть щедрым за чужой счет, тем более что наше пребывание в Париже полностью оплачивает принимающая сторона.

— Все тело ломит, словно меня вчера били, — ворчит он, садясь в машину. — Так бывает, если я слишком много хожу. И еще погода. Стоит на горизонте появиться маленькой тучке...

Боровского хлебом не корми, дай пожаловаться на свои болячки. В действительности шестидесятилетний профессор здоров как бык. Это могут засвидетельствовать наши легкомысленные и покладистые подружки — аспирантки Боровского. Он любвеобилен и неумен, как лось во время гона. Лосиный гон сопровождается могучим ревом самцов и бывает, как известно, зимой. Боровскому же безразлично, кружит ли за окном февральская метель, или жарит июльское солнце. Он готов реветь в любое время года. Мне не раз доводилось слышать его захлебывающиеся залпы-рыки, от которых кровь стынет в жилах: кажется, он не любовью занимается, а, распылив рот в истошном крике, с винтовкой наперевес мчится в штыковую атаку на врага. Боровский изобретателен во всем, что касается техники секса, и не по годам страстен. Поэтому у него нет отбоя от барышень, любящих острые ощущения.

У Боровского благородная душа, и каждой девушке, попавшей ему в лапы, он предлагает руку и сердце. Не могу не отметить одну немаловажную деталь, говорящую в его пользу: в отличие от патентованных обольстителей, превративших процедуру соблазнения чуть ли не в науку, Боровский делает это не накануне штурма, а поутру, когда все уже позади и нежные бастионы сдались на милость победителя.

Вионор Ахмедович Меретуков родился в Москве в 1945 году. Окончил филологический факультет МГУ. В прошлом журналист (АПН). Автор восьми романов. Печатался в региональных российских журналах. Живет в Чехии.

После ночи любви на него накатывают пароксизмы снисходительного великодушия. И он, разомлевший, расслабленный, пресыщенный и умиротворенный, становится сентиментальным: его распирает желание сказать девушке что-нибудь приятное. Вот он и мелет языком. К слову сказать, девушки, надо отдать им должное, относятся к предложениям Боровского с изрядной долей юмора и скептицизма.

Вообще-то, он добрый человек, но доброта его имеет границы, которые он устанавливает в соответствии со своими не всегда понятными представлениями о благородстве, порядочности и этике. На мой взгляд, его доброта отдает душком сомнительного альтруизма. Никто не спорит, он добр, но добр тогда, когда ему это ничего не стоит; он самодурствующий оригинал и ярко выраженный эгоцентрист — он никого не любит так, как самого себя.

Боровский обладает внушительной внешностью, он высок, строен, у него осанка балетного танцовщика. Он располагает к себе. Он обаятелен. Глядя на открытую, добродушную физиономию Боровского, легко впасть в ошибку, приняв его за мягкотелого простака, готового на любые уступки, только бы его оставили в покое. На самом же деле, когда того требуют обстоятельства, он способен поступать очень по-мужски, то есть твердо, непреклонно, рационально и даже жестоко. Он может, презрев излишние сантименты, быть безжалостным не только по отношению к противнику, но и к близкому человеку. Он управляет своими чувствами и своей совестью, как другой управляет велосипедом. Его беспредельный цинизм не может не вызывать уважения.

Поскольку Боровскому на всех наплевать, он ни от кого не скрывает, что его профессорско-преподавательская мораль протерта до дыр. Все, включая кураторов из министерства, смотрят на его любовные шашни с аспирантками сквозь пальцы. А жену, почтенную Клару Ивановну, дабы та не покушалась на его сексуальную свободу, Боровский много лет назад в приказном порядке откомандировал, точнее было бы сказать — сослал, на подмосковную дачу. Там она живет круглый год, ухаживает за яблоневым садом и окучивает грядки с овощными и ягодными сельхозкультурами. Против ожидания, Клара Ивановна не ропщет: она боготворит своего мужа, и при каждом удобном случае с благоговением заявляет, что она жена гения. Надо отдать ей должное, она отлично справляется со своей ролью — ролью преданной жены, целиком посвятившей себя гениальному мужу. Я бывал у них на даче в Селятине. Ее глаза затопляло патокой всякий раз, когда ее верноподданный взор натыкался на непроницаемое лицо супруга. Лучшей жизни, чем существовать в тени великого человека и выращивать на даче корнеплоды, она себе не представляет. Все говорит о том, что она счастлива. Он — тоже, поскольку их пятикомнатная квартира на Кутузовке в полном его распоряжении, и он может водить туда девок, когда ему вздумается.

Клара Ивановна превосходно маринует корнишоны, квасит капусту и варит конфитюры из райских яблочек. Возможно, поэтому Боровский, любящий простую, здоровую пищу, мирится с ее существованием. Примерно раз в месяц он заезжает на дачу, чтобы отдать распоряжения по ведению хозяйства и заодно отдохнуть от столичной суеты.

Клара Ивановна настолько пропиталась деревенским духом, что завела на даче кур, уток, гусей и даже свинью. Как-то свинья, роясь в отбросах, занозила пяточок. Пяточок загноился и распух. Боровский по первому образованию ветеринар. Он бегом осмотрел больную и поставил диагноз:

- Сепсис.
- И что ж нам теперь делать? — всполошилась жена.
- Пациентка нуждается в безотлагательной госпитализации! — рывкнул Боровский и с одного удара забил свинью сапожной ногой.

Как-то зимой, на охоте, выстрелом из карабина он смертельно ранил половозрелого оленя-рогача. Красавец олень, подогнув передние ноги, лежал на груди и плакал. Из-под бархатистого брюха на снег вытекала кровь вперемешку с сукровицей.

Боровский закинул карабин за спину, потом, проваливаясь по грудь в рыхлом снегу, неторопливо приблизился к добыче, достал из-за пояса полуметровый тесак и, напевая песенку о веселой вдове, перерезал несчастной животине горло. С какого боку ни посмотри, это варварство, чуть ли не садизм, и какого-нибудь слабонервного члена Общества защиты животных при виде Боровского с окровавленным ножом в руках хватил бы удар. Но будем справедливы: Боровский поступил в строгом соответствии с древней охотничьей традицией, запрещающей тратить лишний патрон на подранка. Если проявишь малодушие и издала пристрелишь страдающее животное, никакой ты не мужчина, а маменькин сынок, слюнтяй, нюня, тряпка, и тебе не место среди настоящих охотников. Охота не баловство, а серьезное занятие, говорят они. Не можешь орудовать тесаком, займись другими делами: поливай цветы или коллекционируй бабочек. Никто тебя не неволит. Выбирай, кто тебе больше по душе: Джек-Потрошитель или Мать Тереза. Это дело вкуса.

Однако не высказаться по этому поводу я не могу. Нам, медикам, не привыкать резать — это наша работа. Но одно дело кромсать лабораторных крыс. Совсем другое — изуверским способом лишать жизни привыкшее к свободе живое существо. Да еще такое прекрасное, как олень. Сноровисто и деловито перепиливать шею незащитному божьему творению, которое плачет и молит о пощаде? Я бы не смог. Скорее, я бы попытался его спасти. Все же я врач, а не убийца. Я приносил клятву Гиппократу, а не Риббентропу.

Повторяю, это дело вкуса, и я никого не осуждаю и не оправдываю. Как говорится, не суди и не судим будешь.

Как всякий талантливый, неординарный человек, Боровский наделен кучей невинных причуд. Например, приступая к легкому завтраку, состоящему из яйца всмятку и фруктового йогурта, он первым делом засучивает рукава, словно собирается наброситься на истекающий жиром бараний окорок.

Как-то в ресторане, рассуждая о природе загадочных явлений, он на полном серьезе принялся уверять меня, что мысль материальна. «Она столь же материальна, как, например... ну, хотя бы как вот это жаркое, — он ткнул вилкой в бифштекс по-деревенски. — Я умру, а моя мысль будет летать по вселенной, как птица... — тут для убедительности он энергично взмахнул руками, в которых были зажаты нож и вилка с нанизанным на ней куском мяса, — как птица под облаками. Будет летать, пока жива вселенная. А вселенная, да будет вам, дорогой коллега, известно, бессмертна, значит, и мысль бессмертна. Следуем далее: коли моя мысль бессмертна, стало быть, и я, метафизически перевоплощаясь в мысль, до известной степени тоже бессмертен. Это утешает меня в минуты душевной невзгоды».

Боровского переполняют причуды. Они переливаются через край. Он большой ребенок. Своенравный, капризный, вздорный. Он убежден, что является избранником Бога, и не простого Бога, а особенного, уникального, специального, глубоко законспирированного Бога, который симпатизирует только ему одному. Он убежден, что этот его персональный Бог-опекун никогда не подведет и в трудную минуту не оставит в беде. Боровский очень рассчитывает на высшие силы. Временами он напоминает мне мальчика, который верит сказкам про диво дивное, диво чудное — применительно к самому себе. Кроме того, мне кажется, он верит в свое частное, индивидуальное бессмертие.

Верует ли он в Бога так, как верует в Бога истинный христианин? Трудно сказать. Полагаю, он, как и подавляющее большинство верующих, верует не каждодневно,

не систематически, а выборочно, то есть тогда, когда его что-то основательно припечет и когда помощи ждать уже неоткуда. Тогда он начинает молиться во все лопатки. В этом есть своя логика, замешенная на человеческой слабости, врожденной привычке не доверять не только врагу, но и ближнему и размытом представлении об устройстве мироздания. Я полностью разделяю философский пассаж Рене Декарта, который утверждал, что почти в каждом из нас атеист сидит на одном суку с верующим.

В Боровском много актерского; но поприщем, на котором это его свойство проявляется, становится не сцена, а жизнь. Он обожает оригинальничать, орнаментировать обыденность странными, а порой и скандальными, выходками. С ним не соскучишься.

В бумажнике, в том отделении, в котором добропорядочные обыватели хранят семейные фото, Боровский держит свою юношескую черно-белую фотокарточку, на которой он запечатлен в обнимку с какой-то потрепанной девицей в мини. В течение дня он по нескольку раз достает фотографию и любовно ее рассматривает. Он уверен, что это помогает ему не стареть.

У Боровского в подъезде два лифта. По утрам этот любимец богов одновременно жмет на обе кнопки вызова, загадывая, которая из кабин прибудет на его этаж первой. Говорит, ни разу не ошибся. Я ему верю. Как верю и тому, что ему везет чаще, чем среднестатистическому везунчику.

Он родился, как говорят в народе, в рубашке. Впрочем, так говорили о многих. В том числе о Наполеоне. До той поры, пока фортуна не повернулась к императору жопой. Да простится мне сия псевдофилологическая вольность.

Сейчас профессор сидит рядом со мной на заднем сиденье такси и продолжает брюзжать. Водитель прислушивается, шевелит ушами, видимо, пытаюсь понять, на каком это языке изъясняется солидный господин в дорогом плаще и светло-серой шляпе «Борсалино».

— Пора мне избавиться от иллюзии, будто я кому-то нужен, — говорит Боровский. — Знаете ли вы, мой милый Сапега, — он поворачивается и, слегка оживляясь, прикидывается ко мне плечом, — что такое величие замысла? Величие замысла — это когда ты всего себя посвящаешь служению святой цели. У меня же, кроме обязанностей, с которыми я не знаю, что делать, ничего нет. Знаете, что я люблю больше всего на свете?

— Всем известно: дорогие машины и баб.

— В самую точку! Вот вам и все мое величие замысла. Неудивительно, что я разочаровался в себе и мне надоело жить. Но само собой, это не означает, что я должен вскрывать себе вены, как какой-нибудь Робеспьер. Я не такой идиот, чтобы заканчивать жизнь столь позорным образом. От самоубийства Робеспьера пованивает пошлой мелодрамой, опереткой, вы не находите?

— Стыдитесь, вы ведь интеллигентный, образованный человек, как-никак действительный член Российской академии наук, не знать таких вещей... вы меня удивляете.

— А что я такого сказал?

— Ведь Робеспьера-то убили.

— Неужели?.. — восклицает Боровский растерянно. — Ах да, припоминаю, он спокойно нежился в ванне, а его прикончила эта ненормальная, как ее?..

— Шарлотта Корде. Но ее жертвой стал отнюдь не Робеспьер, а Жан Поль Марат. Робеспьера же, к вашему сведению, гильотинировали, и круглая голова председателя национального Конвента скатилась в специально приготовленную для этого бельевую корзину, сплетенную из ивовых прутьев сторонниками восстановления монархии.

— Откуда вы все это знаете? — он с подозрением посмотрел на меня.

— В отличие от вас, я хорошо учился в школе. А Жан Поль Марат действительно нежился в ванне, а Шарлотта Корде подкралась и злодейски заколола его кинжалом.

Боровский недоверчиво покачал головой и извлек из кармана смартфон. Поколдовал над ним и спустя минуту проговорил:

— К сожалению, вы правы: Робеспьера казнили. Вот тут пишут, что его рост равнялся ста сорока пяти сантиметрам. Почти лилипут! Когда ему оттяпали голову, он стал еще короче. Непонятно, зачем его измеряли перед гильотинированием. Странный обычай, вы не находите? Я бы не дался. А этот Жан Поль Марат... Вот же дурак! Сидеть в ванне и ждать, когда тебя прирежут, как поросенка. Я не таков. Если честно, я помер бы прямо сейчас, если бы мне подвернулась какая-нибудь пристойная смерть, вроде смерти от внезапной остановки сердца. Но смерть, как назло, не подворачивается. Кроме того, на краю жизни меня удерживает нестерпимая жажда плотских наслаждений. И еще — страх исчезновения. Да, мне надоело жить, но не до такой же степени!

— Что вы имели в виду, когда говорили о величии замысла?

— Сейчас, коллега, я вам все растолкую, — он по-приятельски взял меня за локоть. — Величие замысла — это прерогатива Господа нашего Иисуса Христа, в которого я вынужден верить, потому что верить больше не в кого: ведь Создатель — единственный, на кого можно положиться без опаски, что тебя надуют. Вот послушайте, величие замысла даровано мне, Борису Петровичу Боровскому, при рождении. Родился я, и вместе со мной на белый свет вывалился весь этот необъятный мир, — Боровский обвел взглядом то небольшое, что было доступно его глазам: бритый затылок водителя, лоскуток серенького неба и дома, мелькавшие за окном автомобиля. — Если бы я не родился, не было бы и этого мира. Родившись, я тем самым подтвердил закономерность своего рождения, а также осмысленность и правомерность существования вселенной. Величие замысла находится в прямой зависимости от закономерности, видите, как все просто?

Далее, все более и более запутываясь, он пространно говорит о божественном происхождении бытия и воздействии духовного начала на повседневность.

Я молчу и апатично киваю. За долгие годы я от него всякого наслушался. Правда, должен признать, в его высказываниях, если их хорошенько встряхнуть, просушить и просеять, можно обнаружить нечто, над чем не грех и задуматься.

— Я очень-очень устал. Надо как-то себя взбодрить. Может, выпить? Интересно, уйдет ли тогда саднящая боль в суставах и голове? Ох уж эти мне заседания, переговоры и выступления! — стонет он, вылезая из машины, и решительно заявляет: — Да, надо выпить! Это я вам как врач говорю! А пока рассредоточимся по своим номерам, для укрепления сил не мешает маленько вздремнуть, а вечером спустимся в бар. Между прочим, туда заглядывают девчушки, как раз такие, какие надо, премиленные и совсем молоденькие. Не думаю, что они стоят дорого. Нам, профессорам, иногда полезно испытать себя на не слишком длинных дистанциях. А отечественной науке, которую мы здесь с вами представляем, это пойдет только на пользу. И потом, я до предела утомлен воздержанием. Вы даже не представляете, какие муки я испытываю, если более двух дней обхожусь без этих нежных созданий, которых одновременно и люблю, и ненавижу. Итак, в баре ровно в восемь. И никаких отговорок!

Боровский еще не знает, что сегодняшний вечер он проведет не в баре, а... черт его знает, где он его проведет!

...Я валялся на диване у себя в номере и думал, как мне отвертеться от предложения шефа. Так ничего и не придумав, я принял душ, переменял рубашку и спустился в бар. Заказал рюмку водки. Потом еще две.

Я прождал Боровского до девяти. Позвонил ему на мобильник. Ни приветов, ни ответов. Поднялся на третий этаж. Поскребся к нему в номер. Молчание. Опять спустился на первый этаж. Подошел к стойке администратора.

— Мсье Боровский ушел из отеля более двух часов назад, — огорошила мне служащая. — Где-то около семи они вышли из бара.

— Они?..

— С ним была молодая особа.

— Вы уверены, что это был Боровский?

— Мне ли не знать профессора! Кстати, его слегка пошатывало, словно он хватил лишнего. И глаза у него были... какие-то шальные. А мадемуазель? Скорее всего, русская. Зрелая, но выглядит молодо, на школьницу похожа, одета комильфо, — с видом прожженной сплетницы сообщила служащая и фамильярно добавила: — Вы, мужчины, от таких дуреете.

— Ваша информация бесценна, мадемуазель. Благодарю. Придется пригласить вас на коктейль.

— Я замужем! — вспыхнула она.

— И давно?

— Скоро десять лет.

— Вот и отметим.

— Я замужем, — многозначительно повторила она.

— Помилуйте, мадам, я же вас не замуж зову, а лишь на дружескую пирушку!

Она улыбнулась и шутливо погрозила мне пальчиком.

Показалось странным, что профессора пошатывало. Ведь что касается выпивки, Боровский стоек, как мало кто в его возрасте. Я опять заглянул в бар. Заказал большую рюмку водки. Просидел над ней полчаса, раздумывая, как мне поступить. Решил подождать до утра. И со спокойной совестью отправился спать. Я сделал все, что мог. Не полицию же мне, в самом деле, поднимать на ноги. Но даже если я туда обращусь, что я скажу? Что профессор неумысел, как лось во время гона?

Утро не принесло ничего нового. На звонки профессор не отвечал. Я вспомнил, что ровно в двенадцать у Боровского доклад в одной из секций. Что ж, пройду пешком до отеля «Бель ами», а там сообщу кому следует об исчезновении докладчика. Но до «Бель ами» я не добрался. На переходе меня сбила большая черная машина. Готов голову дать на отсечение, улицу я переходил на зеленый свет. Это все, что я запомнил.

Очнулся я в небольшой частной клинике. Вокруг меня суетились какие-то люди, шурша зелеными и белыми халатами. Все тело болело, как один сплошной синяк. Слава богу, обошлось без переломов и внутренних кровоизлияний, но под черепной коробкой звенело, постукивало и журчало, словно там забил источник с газированной водой.

Под вечер меня посетил полицейский в штатском. Я сказал, что сам во всем виноват и посему никаких претензий ни к кому не имею. Я счел разумным избрать тактику молчания: не следует мне, иностранцу, ввязываться в бой с французской судебноправовой системой. Потеряешь время, деньги и остатки здоровья. Полицейский, похоже, понял это и довольно быстро убрался.

Следом прибыл молоденький вице-консул. Он что-то записал у себя в блокноте и, оставив на тумбочке три апельсина и визитную карточку, ускакал. Апельсины я отдал медсестрам, а визитку выбросил.

На следующий день организаторы конференции прислали референта с букетом роз и коробкой бельгийских конфет. Розы я отдал сестрам, а конфеты съел.

Моими соседями по палате оказались французы с немецкими композиторскими фамилиями: Вагнер и Шуман. Мсье Шуман без просыпа спал, храпя как носорог. А мсье Вагнер все время что-то напевал себе под нос. И допелся до того, что по ночам мне стал сниться один и тот же кошмар-воспоминание, а именно: зальцбургский музыкальный фестиваль, на который лет пять назад я попал по трагическому недомыслию. Давали что-то устрашающее из Вагнера, кажется, «Валькирию». Мне не забыть своих тогдашних впечатлений. Уже к концу первого действия я понял, что угодил в Преисподнюю. Точнее, в ту ее часть, где слуховой аппарат грешников травмируют с помощью шумовых эффектов повышенной громкости. У меня потом два дня болели уши. В этом повинен Рихард Вагнер и его гроыхающие литавры и покоющие картонные доспехи. Пусть эстетствующие меломаны оболют меня ушатами презрения, но по мне лучше звуки низвергающейся воды в унитазае, чем этакая, с позволения сказать, музыка. Кстати, сон без отклонений в сторону от реальности с документальной точностью повторил все, что я видел и слышал в Зальцбурге. Странно — обычно со снами такого не случается: подкорка непременно подбросит от себя что-нибудь ирреально-фантастическое.

Через шесть дней меня выписали, и я засобирался в Москву. К слову, в моем беспримерно стремительном выздоровлении, вызвавшем у парижских эскулапов недоумение, а у медицинских страховщиков приятное изумление, не было ничего удивительно-го: недаром же я фармаколог. Моими учителями, фигурально выражаясь, были Ибн-Сина и Парацельс. Не мог же я посрамить имен своих великих предтеч. Помимо того, я еще и отчасти фармацевт. У меня, как у юного д'Артаньяна, всегда при себе миниатюрная плоская коробочка с бальзамом, в чудодейственных свойствах которого я не раз убеждался. Бальзам придуман Боровским и мной.

А было это так. Как-то в один невнятный осенний день, одурев от глобальных фармакологических проблем, мы с Боровским решили вольно поэкспериментировать. Намешали на глазок всего понемногу, взболтали, довели состав до вязкой консистенции, прокипятили, охладили и в виварии испытали на Машке, лабораторной крысе, предварительно истыкав ее тельце тупым скальпелем. Ранки затянулись через три часа, и уже к вечеру выздоровевшая Машка как ни в чем не бывало кокетничала с целым взводом своих пылких кавалеров. Удача? Да. Случайность? Да. Вывод напрашивается сам собой: удача очень часто марширует в одной связке со случайностью. И не только в науке. Примеров хоть отбавляй. Правда, в медицине таких совпадений и случайностей все-таки больше. Одно лекарство может и исцелить, а может привести и к летальному исходу.

От всех болезней бальзам, конечно, не излечивает, но с царапинами, внутримышечными и подкожными гематомами справляется шутя. Тайком от медперсонала я пользовал себя этим снадобьем по ночам.

Лечащий врач в день выписки посоветовал мне быть внимательным на парижских улицах.

— Vous n'avez pas remarqué le feu de signalisation? Dieu merci, monsieur Sapega, que tout s'est bien terminé pour vous¹, — он потрепал меня по плечу.

— Vous avez raison, docteur, j'ai agi avec imprudence. Je continuerai d'être plus attentif, je vous le promets².

Он окинул меня изучающим взглядом.

— Вы, Илья Ильич, на удивление быстро пошли на поправку, сейчас вы выглядите, как новый медный пятак, — неожиданно изрек он на чистейшем русском. Доктор,

¹ Не заметили светофора? Благодарите Бога, мсье Сапега, что все закончилось для вас благополучно (фр.).

² Вы правы, доктор, я вел себя неосмотрительно. Впредь буду более внимательным, обещаю (фр.).

судя по всему, ожидал, что я начну расспрашивать его, как это он со своим дореволюционным петербургским произношением очутился в парижской клинике. Но я не стал этого делать. Потому что был почти уверен, что он поведаст мне истрепанную историю о том, как его прадеды сто лет назад, бросив все нажитое, всякие там тульские самовары, персидские ковры и расписные ложки, уносили ноги из Совдепии.

Не дождавшись моей реакции, он продолжил по-русски:

— Голова не болит, спите хорошо? Кстати, вы прекрасно говорите по-французски.

— Вы тоже.

Доктор ослабился.

— Так как же со сном и головой?

— Спать мешают соседи по палате: один храпит, другой поет. Потому, наверно, и голова побаливает.

— Голоса, шумы слышите?

— Бывает.

— Плохо, если у вас начнутся головокружения. Настоятельно рекомендую вам пройти всестороннее обследование. Все-таки вы столкнулись не с инвалидной коляской. Черный джип, говорите? — он задумчиво посмотрел на меня. — Лица водителя, слушаем, не запомнили? Или, может, номер машины?..

— Я уже все сказал полицейскому.

Мне показалось, он слегка смутился.

— Вернетесь домой, поклонитесь от меня Первопрестольной и... сразу же к врачу! Дам-ка я вам адресочек профессора Радлова, у него клиника под Москвой. Радлов мой старинный приятель. Он выдающийся клиницист и возьмет недорого. Светило европейского масштаба. Он специализируется по вашей... мозговой, — он улыбнулся, — части. Впрочем, что это я вам объясняю, вы ведь сами эскулап.

— Я фармаколог, — уточнил я.

— Один черт, одна шайка-лейка, — грубо пошутил он и вручил мне свою визитку.

«Docteur en médecine Pierre Ternovsky»³, — прочел я.

Что-то было фальшивое во всем его поведении: словно он выучил некий урок, но выучил плохо.

Глава 2

— Ничего не понимаю! — кипятился Самсонов. — Как мог в столице цивилизованной Франции как сквозь землю провалиться человек, тем более такой мерзавец, как Боровский? Простите, все позабываю спросить, как вы себя чувствуете.

— Как новый медный пятак, — усмехнулся я.

— Каждые полчаса мне звонят из министерства. Как будто я знаю, где носят черти этого проклятого Боровского!

— И кто же интересуется этим проклятым Боровским?

— Да всякие... вплоть до помощника министра.

Самсонов, размахивая руками, мерил широкими шагами свой директорский кабинет.

— Как вы думаете, Сапега, — он опустил на стул возле меня, — может, его похитили? Ради выкупа? Впрочем, что я говорю, никто не даст за него и ломаного гроша. Что вам сказали эти, как их там... организаторы конференции?

— Я плохо владею иностранными языками, — соврал я. Сделал я это с намерением в следующую заграникомандировку взять с собой эскорт-переводчицу: я такое однажды уже проделывал. Правда, никакими иностранными языками хорошенькая «перевод-

³ Доктор медицины Пьер Терновский (фр.).

чица» не владела, зато всем остальным владела в полной мере. — Кроме того, я почти неделю провалялся в больнице. Да и что им какой-то русский. Там, если верить газетам, свои коренные парижане каждый день пачками исчезают.

— Может, его наконец-то убили? — с надеждой спросил он.

Я с сомнением пожал плечами.

— Вряд ли...

— Жаль, — процедил Самсонов.

Боровского директор ненавидел. И не только потому, что тот, в отличие от невзрачного низкорослого Самсонова, был красив и пользовался успехом у женщин, не только потому, что профессор был крупным ученым, но еще и потому, что Боровский знал цену Самсонову и не скрывал этого. Он не раз прилюдно обвинял Самсонова в некомпетентности. Звали Самсонова Дмитрием Ивановичем. Боровский же в глаза и за глаза называл его Лжедмитрием Ивановичем. «Спустили» нам Самсонова из министерства несколько лет назад, спровадив на пенсию прежнего директора, академика Крылова. Крылов не выдержал удара и спустя полгода умер. Официальная версия — инфаркт. А было ему всего-то пятьдесят пять.

К слову, Самсонов после того, как воцарился в директорском кабинете, ничего в нем не поменял. Тут он проявил неожиданное благоразумие. Дипломы в рамках по-прежнему украшали стену напротив окна, застекленный шкаф с научными трудами Крылова сиял чистотой. Все должно было говорить о преемственности и уважительном отношении Самсонова к великому ученому. Единственное изменение: рядом с фото-портретом огромной яванской макаки, которая сидела на коленях малюсенького Луи Пастера, этот дурак велел повесить портрет президента страны.

Нельзя сказать, что Самсонов не привнес ничего нового в деятельность института. Его распирали жажда деятельности и страсть к нововведениям, поэтому он взялся за работу, что называется, засучив рукава. Он что-то слышал о возрастающей роли цифровизации в различных сферах науки и техники. Вот он и решил внедрить цифровизацию в фармакологию. Как-то раз он собрал в актовом зале десятка два фармакологов и фармацевтов — профессоров и докторов наук. И, победительно оглядев ряды почтенных ученых, в торжественных периодах представил им своего помощника, молодого человека бойкого вида. Новоявленный помощник, работавший до этого в Институте теоретической математики, не стал терять времени даром, вооружился мелком и минут пять усердно покрывал демонстрационную доску сотнями цифр, сопровождая свои действия пояснениями на непонятном большинству фармакологов математическом языке. Ученые изумленно хлопали глазами и крутили головами. На этом с цифровизацией по-самсоновски было покончено.

Не прошло и двух недель, как Самсонов утвердил меня в должности руководителя Центра исследований ПСИФАРМ. На место Боровского. Принимая это решение, директор, вероятно, рассчитывал держать меня на коротком поводке. Ко мне Самсонов относился со сдержанным уважением и еще более сдержанным доверием, но я был опытным профессионалом, и он это знал. Да и выбрать было не из кого.

Под моим началом оказались три лаборатории, виварий, сектор научно-технической информации, группа компьютерного моделирования, техническая библиотека, типография и опытный цех. Теперь у меня было три заместителя, секретарша и даже разъездная машина. Было чем гордиться. Подчинялся я непосредственно Самсонову.

Итак, Центр исследований ПСИФАРМ. Звучит солидно. На самом деле Центр — это жалкие остатки некогда могучего Отдела психофармакологии.

Психофармакология — сравнительно молодая наука. Если коротко, это раздел фармакологии и психиатрии, занимающийся разработкой лекарственной терапии психи-

ческих расстройств. Говоря человеческим языком — разработкой лекарственных препаратов для лечения душевнобольных. Кстати, именно там, в Отделе, а позже в Центре, проводились на животных и биологических моделях доклинические исследования и испытания ремедиума, лекарства, которое могло поставить с ног на голову всю методику лечения психических заболеваний. Работа была завершена незадолго до смерти Крылова. Результаты были засекречены. Настолько засекречены, что документация таинственным образом исчезла. Времена были такие, что бесследно пропадали не только люди, но и документы.

На сегодняшний день в штате Центра числится сотня сотрудников. Это молодые люди обоих полов, по большей части получившие дипломы по блату. Мягко говоря, не лучшие кадры. Лидеры же, умные головы, некогда составлявшие цвет отечественной фармакологической науки, частью вымерли, частью подались в края чуждальние. Оборудование устарело, что-то разворовано или распродано по прямому указанию Боровского. Сотрудники по целым дням болтают без дела, часами сидят в институтском кафетерии и травят анекдоты. Словом, разруха.

Боровский — это не такой уж редкий тип дамского угодника, эгоиста, выдающегося ученого и вора в одном лице. В нем дурное преспокойно уживалось с хорошим, как, впрочем, и в каждом из нас. Не были ему чужды и рыцарские порывы. Однажды, рискуя для себя очень многим, он вытащил меня из отвратительной истории, которая могла закончиться для меня самым печальным образом. В ресторане я избил известного депутата, обладателя румяных щек и рачьих глаз. И хотя я избил его за дело, правоохранительные органы вцепились в меня мертвой хваткой. Боровский подключил все свои связи, и я, отсидев четверо суток в камере предварительного заключения, отделался легким испугом.

Для меня не было секретом, что через Центр прокачиваются некие суммы. Наверно, именно поэтому министерских работников так встревожило исчезновение Боровского. Деньги, деньги, деньги. С некоторых пор, подозреваю, это стало основным предназначением Центра, все остальное было лишь видимостью деятельности. Включая отчеты о проделанной работе, семинары, издание научных трудов и прочую муру. Почему Боровский развалил успешное предприятие? Можно только догадываться. Скорее всего, фармацевтические компании, выжав из Центра последние соки, просто потеряли к нему интерес. Боровский же махнул рукой на научно-исследовательскую работу и со товарищи из вышестоящих организаций решил поучаствовать в увлекательном плавании по денежным потокам. Науку побоку, зато прибыльно.

«Один всю жизнь экономит на удовольствиях, живет ради давно поставленной высокой цели, избегает женщин, которые могут помешать ему работать с утра до ночи, короче, он несчастный мечтатель, не обделенный талантами, трудолюбив и тщеславием, которое в конце концов сведет его в могилу. В лучшем случае он удостоится признания в своей узкой области еще при жизни, то есть добьется поставленной цели. Его имя появится в отраслевой энциклопедии. А жизнь, прекрасная и единственная жизнь с ее закатами и рассветами, восхитительными женщинами, путешествиями, развлечениями, дурачествами и прочими соблазнительными штучками, промчится мимо. Страшно, если в конце своего жизненного пути он осмыслит, что вся его жизнь была одной огромной ошибкой, страшно, если он поймет, сколько всего было упущено. А прошлого не вернуть, жизнь дует в одну сторону! — ах, как страшно! Другой черпает полной мерой, живет вольно и праздно: и выпивает, и волочит за женами приятелей, живет все время в долг, кривив душой, часто врет, но он знает, что такое наслаждение жизнью. Так вот, я решил сочетать все это: взять от каждого — от прожигателя жизни и от честного труженика — всего поровну».

Это откровения Боровского, которыми он в нетрезвом виде как-то доверительно поделился со мной.

У Боровского доставало авторитета, чтобы не подпускать никого, подчеркиваю — никого, к делам Центра. Он все держал в своих цепких руках. Возможно, Самсонов ненавидел Боровского еще и за это. Я, как заместитель Боровского, вроде должен был бы участвовать в его финансовых махинациях. Но Боровский оберегал меня. Возможно, из милосердия. А может, просто не хотел делиться. Я же долгие годы делал вид, что все хорошо, прекрасная маркиза. Ешьте меня, мухи, мухи с комарами. В тени меньше потеешь. Тише едешь — дальше будешь. И так далее. Тем более что я не бедствовал: мне хватало средств, особенно не шикую, жить в свое удовольствие.

Я навел на жену Боровского. Клару Ивановну было не узнать. Голову ее венчала куафюра с претензией на французский шик, но по-московски, то есть так, как его трактуют цирюльницы с Тверской: эфирная небрежность, простота и элегантность а-ля мадам Помпадур Мценского уезда. Ее манера говорить стала иной. Изменилась осанка. Я бы назвал ее царственно-горделивой. Еще бы! Ведь теперь она была не простой огородницей, а кем-то вроде соломенной вдовы и вместе с тем блюстительницы памяти о выдающемся ученом. То есть превратилась в полуофициальную вдову гения. Это возвеличивало Клару Ивановну в ее же собственных глазах. Придавало ей значительности, которой прежде, когда она целиком отдавалась аграрно-кулинарным заботам, у нее было не густо. Она перестала быть тенью мужа. Теперь тенью стал он. И она, вместо того чтобы лить слезы и окончательно заточить себя на даче с грядками, солениями и варевом из райских яблочек, перебазировалась в прекрасную квартиру на Кутузовском проспекте и стала самостоятельной фигурой.

Она холодно выслушала мои слова сочувствия по поводу таинственного исчезновения мужа. Я все ждал, когда же она наконец угостит меня чаем с яблочным конфитуром, но Клара Ивановна даже не предложила мне сесть. Господи, как же меняются люди, когда внезапно открывают, что они что-то собой представляют!

Чтобы полностью освоиться в роли руководителя Центра, мне хватило недели: я много раз подменял Боровского на время его командировок и отпусков.

От прежнего хозяина кабинета я унаследовал тяжеловесный письменный стол на львиных ножках, несколько стульев с жесткими, очень неудобными спинками, вешалку с ношенными брюками Боровского, выдавший виды кожаный диван, тусклое зеркало в человеческий рост и два сейфа. Один сейф был вделан в стену. Ключ вызывающе торчал в замке. В этом я усмотрел нечто сексуальное. В стиле Боровского. В сейфе я обнаружил початую бутылку фруктового ликера, десяток разноцветных фантиков с презервативами, папку с копией прошлогоднего отчета и нежно надкусанную шоколадку.

Другой сейф, огромный, засыпной, был похож на поставленный стоймя цинковый гроб. Над дверцей табличка: «Торговый домъ Бр. А. и Л. Шульманъ. Москва, Лубянский проездъ. Годъ 1896». Ключей, сколько ни искал, не нашел. Дверца за долгие годы разболталась, образовались чуть ли не сантиметровые щели, однако так просто ее не открыть. Я попытался и в результате сломал отвертку и едва не лишился глаза. Я знал, что дубликат сейфовых ключей должен храниться в первом отделе. Таков порядок. Хочешь не хочешь, придется потревожить Потапова, заместителя директора по режиму. Его кабинет располагался на втором этаже административного корпуса. Потапов, как только въехал в кабинет, сразу же велел забрать окна стальными решетками. Это никого не удивило: ведь когда-то Потапов был начальником исправительной колонии. Вышел на пенсию в звании подполковника. На нем горохового цвета пиджак с мятыми плечами. Широкий галстук со следами глажки. Волосы коротко острижены.

Глаза как две костяные пуговицы. Имеет привычку, не мигая, пристально разглядывать собеседника. Судя по всему, он никак не может расстаться с ролью жандарма.

— Никаких ключей у меня не было и нет, — отрезал он. — Вообще, ваш Боровский тот еще фрукт. Он говорил, что у него всего один ключ и он ни за какие коврижки его никому не отдаст. И еще шутил, подлец, что принесет вместо ключа фомку. Я давно предупреждал Самсонова, что с профессором надо держать ухо востро. И как в воду глядел. Исчез в Париже? Бесследно, говорите? — он хохотнул. — Так я и поверил. Нашел где исчезать! Продался, иуда, вражескому Западу. А еще академик! Если ключ не найдется... короче, есть у меня на примете один крепкий специалист по сейфам... — оборвав себя, Потапов мечтательно уставился в зарешеченное окно. Что ему там примерещилось? Бараки, колючая проволока, вышки с пулеметами, серо-синие робы заключенных, ковыльная степь, уходящая за горизонт?

Прошло несколько месяцев. Никакие личности, ни темные, ни светлые, меня не беспокоили. Возможно, подумал я, с исчезновением Боровского притихли и попрытались его загадочные партнеры по финансовым операциям.

В начале июля я на недельку смотался в Европу. На этот раз в Италию, на симпозиум в Римини. Люблю путешествовать. Особенно по воздуху. В Римини установил контакты с представителями нескольких фармацевтических фирм. Антонио даль Пра, вице-президент компании «Альфа Сорренто», принял мое приглашение посетить Москву ближе к зиме.

В поездке меня сопровождала «переводчица» Алиса. Очень милая девушка, которая, пока мы были вместе, не проронила ни слова: ни по-русски, ни по-итальянски. Она молчала даже в постели. Языком общения были жесты: томные, красноречивые и профессиональные. Это мне особенно понравилось. Алиса улетела в Москву раньше меня, я же по просьбе Антонио остался в Римини еще на день.

Глава 3

Рейс на Москву откладывался, и я уже второй час торчал в баре аэропорта, подкрепляясь коньяком и с ужасом вспоминая вчерашний вечер. Антонио дал в мою честь грандиозный прощальный ужин. Я еле добрался до своего гостиничного номера: так я объелся. Да и выпил столько, что Россия по праву может мной гордиться.

...Я разглядывал свое отражение в зеркале за спиной бармена и находил, что моя голова, застрявшая в море разнокалиберных бутылок, очень напоминает голову Боровского, только помолодевшего лет на двадцать. Картина подобия отдавала чем-то запредельно сюрреалистичным. Не хватало только шляпы «Борсалино» и рыжих кудрей. Кстати, нам не раз говорили, что мы очень похожи. И правда, если бы не его огненно-рыжая шевелюра (я жгучий брюнет) и не изрядная разница в возрасте, нас можно принять за родных братьев. И вообще, у нас много общего, например, у нас схожие взгляды на женскую красоту: нам нравится один и тот же тип женщин. Когда я говорю о женском типе, то имею в виду не духовный мир жертв наших сексуальных домогательств, а только их экстерьер.

Я отвернулся от зеркала и от нечего делать принялся присматриваться к пассажирам, которым предстояло в скором времени взмыть в тропосферу.

На днях потерпел крушение аэробус крупной авиакомпании. Пропал с радаров в районе дельты Амазонки, в непроходимых болотистых лесах. Погибло почти пятьсот человек. Все об этом знают. Разрозненные группки потенциальных покойников с потерянным видом слоняются по залам аэропорта. На лицах выражение подавленности и смертной тоски, как у коров, которых ведут на убой. Все это вызывало в вооб-

ражении безрадостную картину: ровные ряды спешно сколоченных гробов под разноцветными флагами. А в гробах пустота, в лучшем случае — чья-то обугленная кость.

В отличие от большинства, я не испытываю страха ни во время полета, ни перед ним. В самолете я не чувствую себя неудобно. Можно даже сказать, что на десятикилометровой высоте я чувствую себя увереннее и спокойнее, чем где бы то ни было на земле. Поясняю: в комфортабельном салоне авиалайнера на все время полета я утрачиваю до чертиков надоевшее мне чувство ответственности за самого себя и охотно, даже с благодарностью, перекладываю эту свою дурацкую ответственность на неведомого капитана воздушного судна. Чем дольше длится полет, тем лучше мне становится. Осознание того, что от меня ничего не зависит, успокаивает меня, и в летящем самолете я пребываю в состоянии, близком к блаженству — чуть ли не к ликованию. Долетит самолет, куда надо, или грохнется где-нибудь в альпийских горах, не знает никто. И это меня не трогает. Все отдано на откуп Судьбе. Спокойная покорность фортуны. Олимпийская безмятежность обреченного. Прекрасное ощущение! Я уже давно обнаружил в себе это нечасто встречающееся свойство, которое помещается то ли в душе, то ли в голове. Была б моя воля, вообще не вылезал бы из самолета.

Наконец объявили посадку. Я занял кресло у иллюминатора. И предался воспоминаниям. Которые скоро переросли в сон. Приснилась прекрасная, как мне когда-то казалось, женщина.

В ней, в Тамаре Владимировне, было грустное очарование. Когда я смотрел на нее, мне почему-то чудился подмосковный пейзаж с моросящим теплым дождем, далеким синим лесом и густой мокрой травой, в которую хотелось опуститься и сидеть, пока хватит сил.

О таких женщинах писали тысячу раз. Но не каждому они встречаются в жизни. Мне «повезло». Хорошо, что это произошло давно, на излете моей молодости, если бы это случилось сейчас, когда мне сорок, я бы удавился.

В институте она появилась сразу после окончания Медицинской академии. Крылов неожиданно предложил ей стать его помощницей. Наверно, как и многие, директор подпал под ее чары.

Выглядела она скромницей и недотрогой. На первый взгляд в ней не было ничего особенного: свеженькая, хорошенькая — и только.

Но если присмотреться!.. Ей подходили слова из лексикона девятнадцатого века. Она была обольстительна, обворожительна, обаятельна, изящна и хрупка, как роза, извлеченная из жидкого азота. Но хрупкость ее была обманчива. У нее было лошадиное здоровье и нервы волчицы. Эта женщина целиком состояла из противоречий. Казалось, в теле половозрелой девушки обитает десятилетняя кокетка. Порочность и целомудрие, наивность и бесстыдство мирно сосуществовали в Тамаре Владимировне, не доставляя ей особых хлопот. Это делало ее, во всяком случае в моих глазах, неотразимо сексапильной. Она знала, стоит ей только шевельнуть бровью или капризно надуть губки, как я паду перед ней на колени и предам и друзей, и убеждения, и совесть, и мать, и родину, и самого себя. Меня спасло то, что она как-то подозрительно быстро выскочила замуж то ли за бельгийца, то ли за австрийца и укатила с ним в Европу. До меня — уже потом — доходили слухи, что она перед тем, как выйти замуж, успела наставить рога, как мне, так и будущему своему мужу, по меньшей мере, с тремя своими любовниками, в число коих затесался, само собой, и вездесущий Боровский.

Горевал я, слава богу, недолго: моя любовь, похожая на заболевание вроде ветрянки, увяла очень скоро. Я вспомнил, что у меня масса проблем с женой, что их надо как-то решать, что у меня подрастает дочь, что у меня есть много других забот и прочее, и прочее, и прочее. И я вернулся к своей прежней, достаточно вольной жизни,

в чем мне поспособствовали развеселые проказницы, любительницы острых ощущений из «гарема» Боровского.

Боровский как-то обронил: Тамара — роковая женщина, от нее следует держаться подальше. Думаю, он заблуждался, приписывая ей то, чего в ней не было и в помине. Некоторые из нас, роясь в своих ощущениях, раскапывают там всякую чушь, даже циник Боровский от этого не свободен. По-моему, роковая женщина — это женщина с размахом, женщина сильных, опасных страстей. Ничего этого в Тамаре Владимировне я не было: никакая она не роковая, просто у нее вместо сердца в груди помещался кусок льда, а это притягивает мужчин сильнее, чем кокетство, коварные уловки и прочие женские ухищрения. Но в разгар своей любовной горячки я был полностью поглощен переживаниями и ничего не замечал. Сегодня же, обогащенный годами печального опыта, я бы такой женщине не позволил водить себя за нос. Приходит на ум известная максима: женщина не создает себя, ее создают мы, мужчины. Создаем себе на беду. Это не мои слова, это сказал тот, чей опыт был еще печальней моего.

Кстати, Тамара Владимировна по профессии патологоанатом. Профессия не простая, занятие, мягко говоря, не для слабых духом. Я как-то спросил ее:

— Почему?..

— Не могу резать по живому. Как-то пришлось ассистировать хирургу во время операции по удалению кисты яичника. И что ты думаешь? Я хлопнулась в обморок. На хирургии был поставлен крест. А с мертвыми никаких хлопот, лежит себе спокойно, не дергается, не капризничает, а ты знай его потрошишь, — она прищурила один глаз и засмеялась, — и еще мне интересно, что там... внутри! И еще... бывали случаи... — она с загадочным видом сделала паузу, — когда покойники оживали.

— Не дури мне голову.

— Не веришь? Мой учитель, профессор Соболевский, при мне воскресил покойника, пролежавшего в морге Института психиатрии почти неделю.

— Рассказывай!

— Клянусь папой! Он поскреб его по пятке и...

— И тот ожил? — захохотал я.

— Соболевский учил: если пятку грамотно пощекотать, никакой покойник не выдержит. Я была примерной студенткой. И не раз проделывала это сама. Могу продемонстрировать тебе это сегодня ночью.

— Я не покойник.

— Это как на это посмотреть, — усмехнулась она, — иногда, когда надо заниматься делом, ты напиваешься и спишь как убитый.

— Тебе бы да твоему Соболевскому — да Нобелевскую премию...

...В Шереметьево я прилетел во второй половине дня.

Случай подстерегает нас на каждом шагу. Я свято верю в это, поэтому несколько не удивился, увидев Тамару Владимировну в толпе пассажиров у багажной ленты. Вот она, моя изменчивая, порочная любовь из сна. Бесстыжая бестия с детскими глазами. Я с улыбкой смотрел на милое лицо в веснушках, на вздернутый носик, на нежные плечи, в которых таилась победительная сила, на пополневший стан, шелками схваченный, и нечистое желание на миг овладело мной.

В шаге от Тамары Владимировны, переминаясь с ноги на ногу, стоял Боровский. Из-под его шляпы наружу выбивались локоны, выкрашенные в аспидно-синий цвет. Перекрасившись, Боровский стал еще больше походить на меня. Таким я буду, наверно, когда мне стукнет шестьдесят.

Я сделал шаг ему навстречу. Как бы защищаясь, он тут же выставил перед собой руки.

— Оставим телячьи нежности другим, я жив, а это уже само по себе достижение, — он старался говорить басом, отчего у него вздувались жилы на шее.

— На этот раз, надеюсь, вы не исчезнете, как в прошлый раз? — невинным тоном поинтересовался я.

Боровский злобно запыхтел.

— Я никуда не исчезал! Чего вы взяли?! Кстати, откуда вы прилетели?

— Из Римини. А вы?

— Как всегда, коллега, вы не можете обойтись без нескромных вопросов! — окрысился он.

— Зачем вы перекрасились, Боровский? — не мог я удержаться еще от одного нескромного вопроса.

— Не ваше собачье дело!

— Знаете, Боровский, — я демонстративно осмотрел его с головы до ног, — вы очень похожи на опереточного злодея.

— Значит, я ничем не отличаюсь от вас!

Мы поехали в Селятино. Почему я не отказался? Может, потому, что был рад Боровскому? Или потому, что дома меня ждали комнаты, гулкие из-за пустоты?

— Мы скажем, что Тамара — ваша невеста, это раз, — вслух размышлял Боровский, поглядывая то на меня, то на Тамару Владимировну и с хрустом загибая пальцы. После попыток говорить басом он хрипел, как фаягот. — Надеюсь, Клара поверит. Это два. Она мне всегда и во всем верит. Это три. Прекрасная, удивительная женщина! Это четыре. Какое счастье, что я на ней женился. Это пять. Да, прекрасная и удивительная! — добавил он с нажимом, не сводя злобных глаз с Тамары Владимировны.

Клары Ивановны на даче не оказалось. Как не оказалось и ключа под ковриком у дачного крылечка.

— Что-то случилось, что-то случилось... — растерянно бормотал Боровский.

— Ничего не случилось. Просто Кларе Ивановне, — я вспомнил ее прическу а-ля мадам Помпадур, — осточертело, согнувшись в три погибели, пропальывать грядки с корнеплодами. Посмотрите, — я кивнул в сторону запущенного огорода и яблоневого сада, усеянного паданцами, — все брошено, ваша жена давно в Москве. Ей здесь стало скучно.

— Этой мерзавке, видите ли, стало скучно! — взорвался вдруг Боровский. — Посмотрим, насколько ей там будет весело! Слушайте все! — заорал он. — Моя московская квартира захвачена моим заклятым врагом! Ну, погоди же, старая хрычовка, дай только добраться до тебя, я из тебя винегрет сделаю!

— Экий вы, право, кровожадный. Я бы на вашем месте позвонил ей и миролюбиво выяснил отношения, — посоветовал я.

— Миролюбиво?! — взревел он. — Как бы не так!

За все это время Тамара Владимировна не проронила ни слова, она стояла в сторонке и с безучастным видом смотрела вверх. Машинально и я посмотрел туда же. Мрачнющий небосвод с наползающими друг на друга черными тучами не сулил ничего, кроме дождя и тоски.

— Сапега, какого черта мы сюда притащились? Почему вы меня не отговорили? — Боровский свирепо уставился на меня.

Пришлось возвращаться. На подъезде к Москве возникла заминка. По всей видимости, Боровский не знал, что ему делать с Тамарой Владимировной. Я понял, что поездку на дачу он затеял, чтобы отделаться от нее. Они о чем-то заспорили. Спор быстро перерос в ссору. Таксист разозлился и высадил их у развилки Кутузовского проспекта и Дорогомиловской заставы.

Уже отъезжая, я видел, как Боровский и Тамара Владимировна, сидя на чемоданах, жестикулируя и не обращая внимания на прохожих, яростно переругиваются.

Глава 4

Я люблю свой старый-престарый дом на Покровском бульваре. В нем есть что-то сказочно-детское. Двор-колодец. Голуби. Крикливые голоса соседок. Глуховатое эхо. Ухоженный палисадник. Гаражи. Спортплощадка. Всего четыре подъезда. Все друга друга знают. Старая Москва в миниатюре.

Солнце заглядывает ко мне по утрам и лишь на час: мешает дом напротив. В моих комнатах пахнет сухим деревом и старыми духами, как в магазине, торгующем подержанной мебелью. То есть пахнет барахолкой и антикварной лавкой. Лучший запах на свете, сравнимый с запахом театральных кулис.

В пять утра меня разбудил нескончаемо долгий звонок в дверь. Словно какой-то страдающий бессонницей изувер вставил в кнопку зубочистку. Суля всех чертей неожиданному визитеру, я поднялся с постели.

Мой бывший шеф, тяжело дыша, стоял в дверях, в правой руке он держал чемодан, перевязанный брючным ремнем.

— Лифт не работает, черт бы его подрал! С трудом вспомнил ваш этаж... Сколько лет я у вас не был? Пять? Семь? — Он снял с головы шляпу и протянул мне. — Берегите ее как зеницу ока. Полчаса назад, рискуя жизнью, я спас ее, в последний момент выхватив из-под колес правительственного лимузина. Перехожу это я Кутузовский проспект, как всегда, в непопленном месте, и когда я был уже на середине, ветер, дующий строго в северо-западном направлении, сорвал шляпу у меня с головы и понес ее в сторону гостиницы «Украина». Я, естественно, рванул за ней. За мной увязался постовой. Километра полтора мы — я, шляпа и непрерывно свистящий в свисток полицейский, — соревнуясь с ветром, с сумасшедшей скоростью неслись по осевой. Наконец уже у самой гостиницы «Украина» полицейский отстал: не выдержал, бедолага. И тут навстречу нам вылетел этот проклятый лимузин. Еле я уцелел. Ни в коем случае не кладите ее на стул, — закричал он, — еще сядете, знаю я вас! Только на вешалку, только на вешалку! Учтите, на ее изготовление пошли шкурки двенадцати баварских кроликов!

— Что это значит? — я глазами указал на чемодан.

— Я приехал к вам погостить. Всего на пару-тройку дней. Ну что вы так скривились? Только не говорите, что вы мне не рады. Скажите мне что-нибудь приятное.

— Гость — в горле кость.

Глаза Боровского были тусклы, правую щеку прочеркивала свежая царапина. Задев меня плечом, он боком протиснулся в прихожую, потом, сбросив туфли, с потерянными видом, прилипая носками к паркету, принялся расхаживать по квартире.

Он немного оживился у стены с картинами, вернее, копиями, которые подарила мне одна художница — экзальтированная, полусумасшедшая особа. В угоду ей я развесил их по комнатам. Роман с художницей, обожавшей во время занятий любовью курить самокрутки и читать мне лекции о светотенях, перспективе, бликах и щетинных кистях, год назад безвозвратно ухнул в прошлое, а картины остались.

— Стоило мне выпустить вас на короткое время из поля зрения, как вы устроили у себя выставку передвижников.

У одной из копий Боровский застыл столбом и театрально всплеснул руками.

— Лувр, Прадо и Уффици посрамлены! Восхитительно, божественно, чудесно! Я ошеломлен! «Женщина с ночным горшком на голове и помойным ведром в руке». Кто же автор сего шедевра? Ах, ах, вижу знакомые знаки в правом нижнем углу, да это, никак, дедушка Пабло Пикассо! Он же — Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непому-

сено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис. Сам удивляюсь, как я все это запомнил...

— Вы всегда помните не то, что надо.

— Подумать только, сколько имен, и все они принадлежали одному человеку! — продолжал он, не слушая меня. — Какая жуткая путаница! Больше дюжины имен, не знаешь, с какого начать! Как Пикассо мог спокойно жить, не зная, где у него имя, а где фамилия? Наверно, именно поэтому он требовал, чтобы при обращении к нему каждый раз перечислялись бы все эти его Хуаны, Диего и Руисы! Вот уже сто лет этому шарлатану и надувале поклоняются целые поколения, поколения идиотов! — с удовольствием подчеркнул он и впился в меня уничижающим взглядом. — Только сумасшедшему могла прийти в голову мысль повесить все это у себя в квартире. Знаете ли вы, что свою первую и лучшую, на мой взгляд, картину «Пикадор» он написал, когда ему было восемь лет? Правда, удалась ему там только лошадь, но зато как удалась! Пройдоха и жулик, геометрический мазила и пачкун — вот он кто, этот ваш Пикассо. Но злодействовал он весьма искусно, расчетливо, грамотно. Тут ему можно только позавидовать. Пикассо прекрасно знал, что если он попытается работать в традиционной манере, ему будет грош цена. Он был посредственным рисовальщиком. Плохо учился. Единственно, что он умел хорошо делать, так это тереть краски. А в остальном... Не знал основ гармонии. Рисовал каких-то убудков со скособоченными лицами и уродливыми туловищами. Кубист проклятый!

— Отсталый вы человек! — не выдержал я. — Чтоб вы знали, в основе кубизма лежит стремление художника разложить изображаемый трехмерный объект на простые элементы и собрать его на холсте в двухмерном изображении. Пикассо был одним из первых, кто понял это и взял на вооружение. Это революция в живописи и изобразительном искусстве.

— Разложить на элементы, собрать... Мог бы он этого и не делать. Но он сделал. Зачем?!

— Таким образом художнику удается изобразить объект одновременно с разных сторон и подчеркнуть свойства, невидимые при классическом изображении объекта с одной стороны.

— Оставьте! Когда Пикассо создавал свои так называемые шедевры, он и не думал об этом, просто водил кистью, как бог на душу положит, он сам не понимал, что делал. За него все объяснили те, кого считают тонкими ценителями, экспертами, критиками. И родился феномен безобразия...

— Повторяю, это революция...

— Да будет вам! На самом деле это от неумения! Вот заставь вас намалевать домик с трубой, из которой валит дым, у вас получится не хуже. А потом вас начнут расхваливать во всех влиятельных журналах, это подхватят радио и телевидение, и все — родился новый гений.

— Глупый вы человек, — возмутился я, — поймите, Пикассо — новатор, философ живописи, революционер...

— Революционер? — Он засмеялся деревянным смехом. — Революций в двадцатом веке и без него хватало. Мы революциями сыты по горло. Все это кривлянье и выпендрож с единственной целью — прославиться. Искусством там и не пахло. А жить Пикассо хотел красиво, со вкусом, блеском, в почете, богатстве! Он был нагл, беспринципен и предприимчив. То есть обладал качествами, необходимыми для успеха. Он знал, что без этих качеств не станешь кумиром толпы. Одураченные поклонники приняли его выверты, его способность оригинальничать за проявление гениальности. А сколько на нем наварили всякие проходимцы: коллекционеры современного искусства и владельцы художественных галерей!

Боровский подошел к другой картине и опять всплеснул руками.

— А вот и Малевич! Как без него-то! Ну конечно — «Черный квадрат». Мазнул Казимир грязной тряпкой раз, мазнул другой и замазал всех, кто устарел: никому не нужных Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэлей.

— Да что это с вами? Не с той ноги встали?

— Сколько их, этих ниспровергателей основ! — не слушая меня, гремел Боровский. Презрительная усмешка не сходила у него с губ. — Но береги вас бог нападать на них. На вас тут же напустятся знатоки, готовые с потрохами сожрать любого, кто посмеет критиковать этих псевдоноваторов. Если вы громогласно, украдкой поглядывая по сторонам в поисках одобрения, не восхищаетесь мазней супрематистов, авангардистов, футуристов, сюрреалистов и прочих истов, вас заключают, обвинят в косности, в неспособности оценить искусство нового времени, назовут ископаемым, гонителем, ретроградом. Вот уже сколько лет пропагандируется уродство. А что случилось с образцами красоты? Раньше при показе мод по подиуму воздушно скользили, летали юные красавицы, богини со стройными ногами, высокой грудью и огромными глазами, а сейчас стаеют порочные юнцы с покатыми плечами и кривоногие девки, похожие на утопленниц. Мерзость! А так называемый спорт? Возьмем бои без правил. Современные гладиаторы на потребу безумствующей публике стали ногами сворачивать друг другу челюсти! Душат противника, пока тот не отключится. На арене рекой льется кровь и валяются выбитые зубы. Сам видел, как одному здоровиле откусили ухо. Публика ликовала! Скоро все свихнется. Все идет к этому. Недалеко то время, когда мы в массовом порядке сойдем с ума и не заметим этого. Посмотрите на нынешнюю молодежь. Они бродят по улицам, как лунатики, уткнувшись в свои смартфоны. Они целиком выпали из действительности. Они живут в ирреальном мире. Они не воспринимают смерть как реальность. Мальчики и девочки, обнявшись, сигают с крыш высотных домов. Они думают, что завтра проснутся как ни в чем не бывало и опять примутся ползать по своим соцсетям и лазать по крышам. А начиналось все с Пикассо!

— Да вы просто зуда. Свалили все в одну кучу...

Он отмахнулся от меня, как от мухи.

— Год назад был я на одной выставке. При мне экскурсовод назвал шедевром композицию, состоящую из перегоревших лампочек, рваного бушлата, черенка от лопаты, подтяжек и воздушного шарика, на котором маркером было выведено краткое всеобъемлющее ругательство. А под всей этой красотой автор с павлиньим пером в заднице и сигарой в зубах отплясывал качучу. И это искусство?! Перформанс, мать его!

— Поймите, людям надоело старье. А вы зуда, сыч, болтун и брюзга!

Он осуждающе посмотрел на меня.

— Вы что, не понимаете? Все это очень серьезно. Поскольку все поставлено с ног на голову, можно вытворять что угодно. Попраны тысячелетние каноны красоты. Извращены понятия. Мораль снесена на свалку.

— Вам ли говорить о морали?!

— Уровень упал, — по-прежнему не слушая меня, токовал он. — Кто громче пукнет, тот и в дамках. Так во всем. В искусстве, в политике, в литературе, в науке...

— Согласен, никогда еще наша наука и литература не находились на таком низком уровне, как теперь, — в тон ему сказал я.

Он с одобрением посмотрел на меня.

— Ну наконец-то вы нашли правильные слова.

— Это нашел не я, а Рашевич. Сто лет назад.

— Какой еще Рашевич? — с подозрением спросил Боровский.

— Чеховский персонаж. Зануда вроде вас. Дочки звали его Жабой.

- Стыдитесь, Сапега!
- Вздорный старик — вот вы кто! Катаетесь как сыр в масле и все ноете, ноете, ноете...
- Как вам удалось всем этим разжиться? — он ткнул пальцем в «Черный квадрат». —

Под покровом ночи выкрали из Третьяковки?

- Да будет вам. Лучше скажите, что будете пить.
- В такую рань? Впрочем, налейте чего-нибудь легкого, вроде виски, только в большой стакан. Но сначала душ! Надеюсь, у вас найдется чистое полотенце?

По пути сбрасывая с себя одежду, он ринулся в ванную. Вскоре оттуда донеслись громкие визгливые звуки: это Боровский, страшно фальшивя, бляя и подвывая, принялся выводить арию Неморино. Я зажал уши. Он вышел из ванной в моем любимом халате, бодрый, помолодевший, с капельками воды на висках и сияющими глазами. Плюхнулся в кресло и сразу ухватился за стакан.

- Перед вами жертва семейного насилия, — произнес он и сделал большой глоток.
- Мне кажется, вы выглядите совсем неплохо.

Боровский недоверчиво покосился на меня.

— А это, — он осторожно провел ладонью по оцарапанной щеке, — следы вышеупомянутого насилия. Вот уж не ожидал, что моя благоверная выйдет из-под контроля и нанесет мне тяжкие телесные повреждения. И было бы из-за чего! Ну, нашла под кроватью пару использованных презервативов. Эка невидаль! Вместо того чтобы культурно, по-доброму все обсудить, Клара набросилась на меня с кулаками. Эта так называемая хранительница домашнего очага обвинила меня в измене семейным идеалам. Она так бушевала, словно я изменил родине! А стоило мне на мгновение отвернуться, как почтеннейшая Клара Ивановна огрела меня сковородой. Вас никогда не дубасили по голове чугунными приспособлениями для жарки пищи? Непередаваемое ощущение. Мне показалось, что весь мир наполнился колокольным звоном. Казалось, вместе с моей головой зазвенела вселенная. Не знаю, как я остался жив. Может, подать на нее в суд? Чтобы ее законопатили в Сибирь лет на двадцать. Совсем сбрендила, старая швабра, вот полюбуйте, — он наклонил голову, разгребая пальцами волосы на макушке. Моему взору предстала здоровенная лиловая шишка. — А потом полезла царапаться. Похоже, она не рада, что я вернулся. Мерзкая баба! Ненавижу! Не знаю, что на нее нашло, она просто озверела. А ведь была такой тихоней, годами прикидывалась мышкой. Она словно переродилась... Почему? В чем дело? Не понимаю! Вы не знаете, что это с ней произошло?

- Прошу не впутывать меня в ваши семейные дела.
- И все же — почему?..
- Вам лучше знать.

— А когда-то я был в нее почти влюблен! — горестно воскликнул он. — Клара. Ну и имечко! Как я раньше этого не замечал?! А ведь я приехал из Италии не с пустыми руками, я привез ей в подарок дорожные духи «Карон табак блонд». Пока искал, пол-Флоренции обегал. Наконец уже перед самым отъездом купил с рук у какого-то симпатичного турка. Кто знал, что там окажется яблочный уксус!

Боровский сделал глоток. Было слышно, как виски заполоскалось у него в горле.

- Сапега, никогда не женитесь!
- Постараюсь.
- Поклянитесь!
- Клянусь!
- Сейчас, как никогда, я нуждаюсь в друге, верном и, главное, бескорыстном, — произнес он с чувством и прижал руку со стаканом к груди.
- Где ж вы сейчас такого найдете?

— Илья, — он едва ли не впервые обратился ко мне по имени, — приютите несчастного страдальца на пару-тройку дней. Вам это зачтется, когда вас будет экзаменовать апостол Павел с ключами от рая.

— Ключами от рая, помнится, распоряжался апостол Петр.

— Черт с ними, с этими долбаными апостолами! Вы не забыли, кто когда-то спас вас от тюрьмы?

— Это не по-джентльменски — напоминать о благодеяниях, — укорил я его.

— Ах, оставьте! Признательность и благодеяние — суть добродетели. И напоминать об этом не грешно. И потом, в гостиницу я не хочу. Мне нужны домашний уют и покой, которого я лишился, как только связал себя узами брака с этой мерзкой образиной. Она забыла, что я посвятил ей лучшие годы жизни! Я безропотно отдал ей в полное распоряжение дачу с двенадцатью сотками. Казалось бы, владей, окультуривай, обрабатывай и наслаждайся! Так нет! Ей нужна еще и моя московская квартира. Ненасытная тварь! Представьте, она успела там похозяйничать, сделала перестановку мебели и прикупила всякую всячины, включая десяток чугунных сковородок, словно собирается сражаться со мной до скончания века, — голос Боровского дрожал от возмущения.

— А рога? — он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами. — Роскошные лосиные рога, полированные, покрытые алкидно-карбамидным лаком, предмет моей особой гордости, в течение двадцати лет служили украшением спальни и висели над изголовьем кровати в нашей семейной спальне. Теперь их там нет! Пока я томился во флорентийской неволе, эта гадюка заменила их распятием из черного пластика. Представляете, вместо лосиных рогов чернокожий Иисус, похожий на дикого африканца, такое кощунство! Идиотка, она подумала обо мне? Где мне теперь проводить досуг? Хорошо еще, что она не снесла рога на помойку... я ими очень дорожу, — Боровский покачал головой, — очень-очень дорожу! Скажу вам по секрету, как только мои гости видели рога, в них словно бес вселялся, так они их заводили! Рога будили в них звериную страсть. Их было не удержать, так они рвались в бой. Во время любовных ристалищ для возбуждения азарта я любил развешивать на рогах предметы дамского туалета. Теперь всему конец! — в тоске завопил он. — А теперь о самом ужасном. Клара, не считаясь с моими физическими возможностями и сексуальными пристрастиями, заявила, что согласна возобновить со мной интимные отношения, прерванные из-за пандемии свиного гриппа в начале девяностых прошлого столетия. И выставила условие: это должно происходить только в определенное время, а именно: с восьми до восьми пятнадцати каждое утро. Представляете, каждое утро! Заводишь будильник и ставишь его рядом с кроватью. И пока все это длится, одним глазом подглядываешь за минутной стрелкой. Своеобразное состязание со временем. Она сказала, что сейчас это популярно в среде интеллигентов среднего и старшего возраста. Утренний половой акт, сказала она, оздоравливает пожилых партнеров, успешно заменяя атлетическую гимнастику, и ведет к наращиванию мышечной массы. Вам не напоминает это подходы к штанге? Мне напоминает. Тонны бездушного металла, изнурительный, каждодневный труд, соленый пот, градом катящийся по спине, а в конце вопль: вес взят! Со всем спятила, старая дура! Я не нуждаюсь в наращивании мышечной массы. И неужели она думает, что я буду трахаться с ней под сенью пластмассового Иисуса! Илья! Дорогой мой! Пустите меня переночевать, — заныл он, — я готов спать где угодно, хоть в прихожей, хоть на собачьем половичке, хоть на кухне, хоть в ванной или даже на балконе в спальном мешке.

Он подошел к раскрытому чемодану, покопался в нем и извлек топор.

— Великолепная вещь! — он любовно осмотрел топор со всех сторон и потряс им в воздухе. — Купил по случаю. Буду класть под подушку, чтобы лучше высыпаться.

Лучше топор, — он вздохнул, — чем Клара Ивановна. Вот до чего я докатился, до топора! Явные признаки сумасшествия, — с удовлетворением произнес он.

— Кстати, — он подмигнул мне, — у вас в спальне стоит прекрасная двуспальная кровать, мечта прелюбодея. Как бы мы с вами там хорошо расположились! Вы слева, ближе к окну, я справа, у стенки, там меньше дует.

— А между нами положить Тамару Владимировну?

— Не надо так жестоко шутить, — сказал он с укором. — Это она повинна в том, что я оказался у разбитого корыта.

— Что вы имеете в виду?

— Позже я вам обо всем расскажу. Ах, дорогой мой! Мне некуда податься, меня отовсюду гонят, — он опять сделал глоток и страдальческими глазами посмотрел на меня. — Итак, у вас прекрасная двуспальная кровать из карельской березы. Правда, помнится, она поскрипывала. И поскрипывала в самые, так сказать, патетические моменты. Не мешало бы ее смазать. Вы не забыли ту грудастую, что возлежала на этой кровати и протягивала руки то к вам, то ко мне?

— Как я мог ее забыть? Она еще просила у вас прибавки к зарплате. А вы ответили, что, если она еще раз заикнется об этом, вы прихлопните ее мухобойкой. Неужели вам не было стыдно?

— Мне и сейчас стыдно. Но вы напрасно ставите мне это на вид. Да, признаюсь, я использовал служебное положение в личных целях. Но согласитесь, очень часто бабы, обвиняя нас, сами ничем не лучше. Эта грудастая... она что, не догадывалась, что ее ждет, когда принимала наше приглашение на поздний ужин втроем? Поочередно переспала с нами обоими, а потом начала строить из себя чуть ли не девственницу. С самого начала я прекрасно знал, с кем имею дело. Я бы никогда не позволил ничего подобного с порядочной девушкой.

— А как вы отличаете порядочную девушку от шлюхи?

Боровский на минуту задумался.

— Пожалуй, по запаху. От порядочной девушки пахнет антоновскими яблоками, незабудками и ветром с моря, — он мечтательно зажмурился.

Меня начинал забавлять этот разговор.

— А от непорядочной?

— Тем же самым, только стократ сильней. Так вы пустите меня переночевать?

— Мой дом в полном вашем распоряжении, — ответил я без раздумий. Я давно выработал в себе умение быстро реагировать на самые разнообразные просьбы, даже если они сильно задевают мое душевное равновесие. Во-первых, все равно придется уступить, во-вторых, если будешь долго раздумывать, много потеряешь в глазах просителя. — Мой дом в полном вашем распоряжении, — повторил я. — Но о кровати забудьте.

— Как это забудьте?! — изумился он. — Что за глупости! Раз кровать двуспальная, на ней должны спать двое! Это же аксиоматично!

— Черта с два! Спать будете вот там, — я категорично указал на узенький диванчик у окна.

Он подошел к диванчику и с опаской присел на него.

— На этой кушетке?! Но я же здесь не помещусь! У меня будут торчать ноги!

— Вот и прекрасно: будем на них сушить полотенца.

— Вы злостно нарушаете законы гостеприимства!

— Не хотите, скатертью дорога.

— Черт с вами, согласен, — вздохнул Боровский. — Сапега, я страшно голоден, последний раз я ел почти сутки назад, в самолете. Вчера мне по понятным причинам в еде было отказано. Утром хотел поджарить себе глазунью, но оказалось, Клара ночью про-

нумеровала все яйца химическим карандашом. Чтобы я, значит, не мог без ее ведома приготовить себе поесть. Мерзавка! Угостите меня сытным завтраком. А я вам за это исполню что-нибудь оперное. Ария Гремину вас устроит? Я сегодня в голосе. Вот послушайте. Любви-и-и, — запел он гнусаво, — все-е-е во-о-зра-сты-ы поко-о-о-рны-ы...

— Не надо! — взмолился я. — Я угощу вас даром.

— Вы прилетели из Римини, я с Тamarой — из Флоренции, — он задумчиво посмотрел на меня. — И практически одновременно. Не кажется ли вам это странным?

— Не кажется.

— Нет-нет, очень странное совпадение! Кстати, чем случай отличается от совпадения?

— Думаю, ничем.

Мы перешли на кухню. Боровский энергично вышагивал передо мной, держа в руках бутылку и стакан.

Пока я кашеварил у плиты, готовя исполинский омлет из дюжины яиц, с грудинкой, охотничьей колбаской, фасолью и сладким перцем, эстет Боровский, сладострастно облизываясь и машинально засучивая рукава, следил за мной со смешанным выражением ужаса и восторга на лице.

— Давид готовит угощение для своего лучшего друга Голиафа! Лукулл обедает у Лукулла! — кричал он. — Неужели я все это съем? По утрам у меня прежде никогда не бывало аппетита, но сегодня со мной творится что-то невообразимое, страшно хочется есть, это, скорее всего, нервное, — говорил он, когда половина омлета уже исчезла у него в желудке. За омлетом последовали пол-литровая кружка какао и блюдо с бисквитами. Он все это умял, завершив завтрак сигарой и стаканом виски.

Я смотрел на него, пил кофе и курил.

— А теперь, мой добрый друг, — говорил он, отдуваясь и осоловело моргая, — я поведаю о несчастьях, которые обрушились на мою бедную головушку в значительной степени по вине Тамары Владимировны. Вернее, даже не по вине, а по злому умыслу. Представьте себе вооруженных страшными револьверами бандитов, которые, пользуясь вашей беззащитностью, ставят вас перед выбором. Перед страшным выбором! У вас всего два варианта. Альтернатива отсутствует. Первый вариант: вы соглашаетесь с предлагаемыми условиями, и вас временно отпускают на все четыре стороны. Второй вариант выглядит менее предпочтительно: в случае отказа ваше брюхо будут разогревать утюгом фирмы «Сименс». Отличный утюг, с парогенератором и автоматическим регулятором, стоимостью триста пятьдесят долларов. Работает безотказно, эффект стопроцентный. Если вашим оппонентам покажется этого мало, они примутся методично разделять вашу тушу на неравные доли. Голова отдельно, филейные и антрекотные части отдельно, окорока отдельно, гениталии, разумеется, тоже отдельно. Словом, сплошные порции. Начнут, естественно, с гениталий: исключительно для того, чтобы перед стартом к праотцам вы от души помучились. Такие вот дела... Но даже если вы выберете первый вариант, нет никакой гарантии, что вас оставят в покое. Что в лоб, что по лбу...

Он сокрушенно завертел головой и замолчал.

— Что им было от вас нужно? — подстегнул я его. Дай волю Боровскому, он без конца будет перемежать свою болтовню мхатовскими паузами.

— Не торопите меня. Вообще-то, они, эти бандиты, выглядят вполне прилично, на первый взгляд милейшие люди, интеллигентные и совсем не страшные. И если бы не эти их ужасные разговоры о разделке туши и револьверы...

— И утюги... — с невинным видом напомнил я.

— Да-да, и утюги! — заревел он, вздрагивая всем телом. И уже тише: — Итак, они пронюхали о ремедиуме. О его свойствах. Ну, вы понимаете, я говорю о тех свойствах, которые... — Боровский нервно пожевал губами, — которые кого угодно могут напугать

своей непредсказуемостью. Я им сказал, что Крылов тайну применения ремедиума как в лечебных, так в иных целях унес с собой в могилу. Они не поверили и сказали, что, если я не выдам им формулу, они мое брюхо припаяют к моему же копчику. Под конец сменили тон и велели после Флоренции возвращаться в Москву и искать формулу. Вы не знаете, куда подевалась документация?

— Я знаю не больше вашего.

— Скверно.

Боровский резко поднялся и заходил по кухне.

— Я сразу понял, — продолжал он тихо, — что эти ребята чуток не в себе. Одеты как на картинке. Сплошные «Гуччи», «Армани» и «Бриони». А ведут себя, как расшалившиеся дети, и называют друг друга какими-то нелепыми кличками: Тибосик, Кляка, Мамыня. Но в то же время при обращении перед кличками титулуют друг друга: «Ваше Превосходительство», «Ваше Сиятельство», «Ваша Светлость». Странная публика. Среди них не было ни одного, кто был бы старше меня. Даже более того... Мне показалось, что этим ребятам, хотя все они носят бороды, не более двадцати. А Тамара Владимировна...

— Она что, причастна ко всей этой истории?

— Они, эти Кляки и Мамыни, с ней очень считаются.

— Широко шагнула, — сказал я в раздумье.

— Видели бы вы ее! Величавая, как статуя Командора! Я всегда говорил, что она роковая женщина! Она стояла, опершись на какого-то ублюдка со зверской рожей, и делала рукой вот так, — Боровский указательным пальцем изобразил в воздухе букву «А».

— Насколько помнится, это анархистский символ.

— Вы правы. У нее на боку болталась шпага, представляете?

— Шпага-то к чему?

— Для форсу! Кстати, это она перекрасила меня в брюнета.

— Зачем?

— Я же говорю, они там все сумасшедшие. Включая Тамару. Кстати, они к ней обращаются вот так: «Ваша Светлость». У сумасшедших своя логика, если она вообще у них есть. Они сказали мне, что хотят построить рай на земле. Мать честная, рай на земле! До них многие пытались. И помните, чем все это заканчивалось? Они сказали, что тогда будет полная свобода, а по земле будут ходить только люди и кони. Я не удержался и сдуру пошутил: зачем — люди? Пусть ходят одни кони. Они пригрозили мне удушением, четвертованием и колесованием. Не поняли шуточки. Они верные последователи князя Кропоткина. Я-то думал, что с анархизмом покончено давным-давно. Ан нет!

Боровский сел, потом встал и тут же снова сел.

— Помню какой-то зал с мраморными колоннами. В центре зала, полукругом, столы с компьютерами, а за ними сидят совсем юные очкарики. Как я понял, вся эта гопкомпания состоит из вундеркиндов. Они с помощью новейших технологий, не выходя из этого зала, грабят банки и вкладчиков. Гениально! У них все прекрасно отлажено. Работают посменно. Никто ни с кем не разговаривает. Только слышно, как гудит, жужжит и попискивает аппаратура. Под потолком — преогромная люстра. И сверкает разноцветными огнями. Как новогодняя елка. На полу гладкий тканый ковер. В центре ковра лик царя Соломона, впивающегося оранжевыми губами в золотую чашу наслаждений. По стенам тоже ковры, а на них мушкеты, пистолеты, кинжалы, охотничьи ружья, шпаги, рапиры, шашки, мечи, ятаганы и сабли, сабли, сабли... Сотни сабель! И все заржавленные, в темно-красных пятнах, словно от запекшейся крови! В одном из углов — старинная пушка, а рядом пирамида ядер. Представьте себе мой ужас! И еще этот ковер с Соломоном, и наша монументально величавая Тамара Владимировна

со шпагой на боку, и ее телохранитель с бандитской харей... Я со страху, естественно... Да-да, чего уж там, обделался, как последний засранец!

— Вот уж не ожидал от вас!

— А вы бы не обделались?

— При даме, да еще со шпагой?.. Ни за что!

— Что со шпагой, что без шпаги обделались бы, как миленький. Кстати, думаю, именно то, что я наложил в штаны столь скоропалительно и обильно, меня и спасло, полностью убедив их в том, что я готов на все, только бы выбраться оттуда живым.

— Общеизвестно, что вы родились в рубашке. Провидение — вот что спасло вас. Вы избранник Бога.

— Ну, вы, право, скажете... избранник... Давайте спустимся на землю, я позорно обосрался, но, повторяю, именно это меня и спасло, — чтобы успокоиться, он сделал глоток. — Пока мне меняли штаны, я успел заметить в зале анархистскую символику: всякие там серебряные обручи с «А» посерединке и изображение черных кошек на зеленых, желтых и пурпурных флагах. И над всем этим, под самым потолком, царил «Веселый Роджер».

— Флаг с черепом и костями? Адамова голова?

— Она самая, только вместо костей крест-накрест вилка и столовый нож. Оригинально, не правда ли? Чтобы иллюзия устрашения была полной, рядом с кухонно-гастрономическим «Роджером» был установлен мощный вентилятор, и флаг развевался, можно даже сказать реял! — как будто был укреплен на мачте пиратского брига. Они все сумасшедшие. Это вне всяких сомнений. Но у них, как я понял, огромные деньги. А деньги — это власть. И они кого угодно убедят, что они нормальны. Если их не оставят, они еще, не дай бог, построят этот свой дурацкий рай на земле, построят на наших костях, на костях нормальных людей. Вот что ужасно. Свою банду они называют Организацией. Организация, Организация, Организация... Организация вынесла решение, Организация не позволит, Организация назначила, это у них на языке.

— Как вы оказались во Флоренции? Вас что, тайком вывезли из Франции?

— Ах, какой расчудесный город эта Флоренция! Век бы там жил! Но оказалось, я не могу подолгу находиться на чужбине, прямо беда! Влечет, ах, как влечет к родимым березкам!

— Я вас не понимаю. То вы говорите, что вас едва не прикончили. То вдруг оказывается на свободе, и не где-нибудь, а во Флоренции. Да еще с любовницей. Когда вам верить?

— Я и сам толком ничего не понимаю. Я не сказал вам ни слова лжи. Они там все сумасшедшие. Впрочем, я это уже говорил... Короче, в один прекрасный день я оказался в прекрасной Флоренции с не менее прекрасной Тамарой Владимировной. Мы жили в отеле с видом на старинную часть города. Знаете ли вы, что Флоренция создана для того, чтобы губить нежные, доверчивые души? В этом отношении Флоренция, по мнению знающих людей, опасней Венеции. Страшный город. В нем можно раствориться, как растворяется сахар в стакане с кипятком. Раствориться и стать его частью. Этот город притягивает. Я там чуть было не влюбился в восхитительную Тамару Владимировну. Уже на второй день, прямо-таки утонув в волшебных красотах Флоренции, я почти забыл о перенесенных страхах. И мне захотелось, — почти пел Боровский, — поселиться там навсегда.

— Вы никогда не баловались стишатами?

Боровский замахал на меня руками и вдохновенно продолжил:

— Окна нашего прекрасного гостиничного номера смотрели на площадь Республики. Повторяю, на время я забыл о перенесенных страхах. По утрам я выходил на балкон и подолгу стаивал там. Слева, над крышей гостиницы «Савой», парил в безумном ма-

реве похожий на крышку гигантской масленки купол собора Санта Мария дель Фьоре. Справа, метрах в трехстах, высилась башня Арнольфо, будто высеченная из единого куска камня. Я любовался всей этой прелестью, курил и ждал, когда проснется ваша бывшая возлюбленная, — он усмехнулся, — бесподобная Тамара Владимировна.

— Черт бы вас побрал! Я вас о деле спрашиваю, а вы мне заправляете арапа про Флоренцию...

— В сотый раз повторяю: я сам ни черта не понимаю. Мне приходит в голову только одно объяснение: они там все спятили. Хотя с виду — нормальные.

Я посчитал, что самое время поделиться с ним своими воспоминаниями о происшествии на парижском перекрестке. И я ему все рассказал: и о черной машине, и о клинике с русским доктором-эмигрантом, и о визитах вице-консула и полицейского...

Боровский слушал меня очень внимательно.

— Теперь я понимаю, о ком они говорили, — сказал он задумчиво.

— И о ком же?

— Я слышал, как Тибосик сказал Мамыне или кому-то еще, что «надо бы пощупать этого красавчика». А Кляка перебил его, сказав, что щупать надо раскаленными клещами за ребра, мол, так надежней. Черная машина, черная машина... Будьте осторожней, в следующий раз они не станут миндальничать, а раскатают вас в блин.

Мы вернулись в гостиную.

— Как вы думаете, наш прежний директор умер своей смертью? — внезапно спросил он.

— Разные ходили слухи.

— Слухи слухами, а я точно знаю: его убили. Причастны те, кому он мешал. А кому он мешал? Лжедмитрию. Я не утверждаю, что Самсонов лично его прикончил. Но он, пусть опосредованно, причастен, в этом нет сомнений. Смерть Сережки Крылова — это пламенный привет из девяностых годов прошлого столетия, тогда любили решать все вопросы просто: был человек, нет человека. Только тогда все решала пуля, а теперь действовали иначе. Знали, что он не переживет своей отставки, у него было большое сердце, — голос Боровского дрогнул. — Я с ним дружил почти сорок лет. Кстати, вы знаете, как пишется его настоящая фамилия?

— Семикрылов. Это все знают. Зачем он ее так обкорнал?

— Она казалась ему смешной. Он, как повзрослел и перечитал «Пророка», сразу понял, что она смешная. Пушкин там все про серафимов... про шестикрылых. А семикрылых серафимов не бывает. А шестикрылых — навалом.

— Вы уверены? — не удержался я от смеха.

— Ну, конечно. Не стану же я вступать в полемику с самим Пушкиным. Серафимы — это небесные ангелы, которые находятся на самой высокой ступени райской иерархии. Помните?

— Помню. «И шестикрылый серафим на перепутье мне явился».

— Во-во, именно — явился, причем шестикрылый. Непонятно, правда, зачем ему столько крыльев... Сережка был лучшим у нас на курсе, работал как вол, добился выдающихся результатов, а в последние годы он пробрался в такие глубины, в такие дали... Дай бог, — Боровский неумело перекрестился, — дай бог ему здоровья на том свете, если все это не сказки про белого бычка и тот свет не вымысел. Он был талантлив, как черт. Гений, одним словом.

— Вы ему завидовали?

— Умные люди гениям не завидуют, они к ним пристраиваются, а иногда и присасываются, — хмыкнул Боровский. — Вот послушайте... Крылов ужаснулся, когда понял, что его открытие приводит не только к положительным эффектам при лечении многих видов психических расстройств... словом, существует еще и отрицательный, такой,

что... — Боровский на мгновение задумался. — Применение ремедиума может привести к непоправимым и непредвиденным последствиям. Все зависит от того, как его применять. И дело не в количестве исходного материала, а в чем-то другом...

Я молчал и курил сигарету за сигаретой. Все это я знал не хуже Боровского.

— Пророчествую, — воскликнул он, грозя кому-то пальцем, — сумасшествие станет болезнью двадцать первого века! Оно превратится в пандемию. Как бубонная чума, грипп, ветряная оспа и моровая язва. Только в отличие от известных пандемий, которые рано или поздно по пока еще неведомым причинам сами собой скукоживались, эта затухать не будет, она не успокоится, пока не сведет с ума абсолютно всех.

— Вы рисуете какие-то апокалипсические картины. Вряд ли это возможно, эпидемии и пандемии развиваются лишь потому, что люди, контактируя, передают...

— Не перебивайте меня! Все это возможно! Вот послушайте. Произойдет это следующим образом. Некие негодяи, возможно, это будут Кляка, Тибосик и Мамыня, разведав о скрытых потенциалах ремедиума, приведут в действие все механизмы передачи инфекции: аэрогенный, контактный, трансмиссивный, фекально-оральный, вертикальный. И тогда эта мерзость, которая пока хранится в лабораторных пробирках, вырвется на свободу и сведет с ума целые города, страны, континенты! И не будет спасения! Все, в том числе врачи и ученые-инфекционисты, сойдут с ума! Не будет никого, кто бы знал, как бороться с этой гадостью. Представляете, по улицам и площадям мировых столиц бродят толпы умалишенных, возглавляемые яйцеголовыми идиотами. Ни одного нормального, все сумасшедшие! Кошмарное зрелище! Все будут поражены сумасшествием! Эти безумцы, всякие там Тибосики, Мамыни и Кляки, хотят с помощью ремедиума завоевать весь мир. А что? Возьмут и объявят биологическую войну всему человечеству. И не дай бог, победят в ней! И настанет их дурацкий рай на земле. Впрочем, я это уже говорил...

— А кто, по их мнению, будет выпекать хлеб, производить машины, строить дома, снимать фильмы, писать книги, заниматься политикой?

— Политикой? — захохотал он. — Мне кажется, там и сейчас полно сумасшедших. Впрочем, так далеко, думаю, они не заглядывают. Для них главное — это превратить всех в умалишенных... Я слышал, как Тибосик говорил, что основа вселенной — это абсурдность, бессмысленность, а человек всегда и во всем ищет смысл. Человек, по его словам, все меряет земными человеческими мерками, а у вселенной свои мерки, человеку до них не дотянуться. Поэтому человека, чтобы не мешался, надо уничтожить, извести под корень... — тут он замолчал, прикрыв себе рот руками. — У вас здесь нет... этих, — он пальцем потыкал в разные стороны, — этих штук? Мы здесь с вами говорим, а где-нибудь в Вашингтоне или в Саратове слушают?

— Никогда нельзя ни в чем быть уверенным.

— Да-да, сущая правда. Ну да, черт с ними! Пусть слушают! Может, чему-нибудь научатся... Ах, Сапега, я вляпался, вляпался, вляпался! Милых девчушек там, в баре, не оказалось. И тут как с неба сваливается эта красотка, которая, согласитесь, с годами только сексуальней стала. Вы знаете, я всегда был слаб до красивых женщин, чего уж там... словом, я не устоял. Раз нет молоденьких, сойдет и эта. Тем более что она немного прибавила в весе, я это люблю. Прежде она было немного костлява, вы не находите? А дальше... дальше началась какая-то круговерть... — он задумался, припоминая. — Я еще в баре понял, что она мне что-то подмешала в виски. Потом — провал, помутнение... Оклемаюсь я в какой-то комнате, обшитой от потолка до пола то ли матрацами, то ли ватными одеялами. Это, значит, чтобы никто не слышал, как я буду завывать, когда мне начнут засаживать иголки под ногти и крутить яйца.

— Прямо детектив какой-то.

— И не говорите. Если честно, первый раз я обделался еще в той комнате с матрацами.

Боровский минуту молчал.

— Что нового в институте? — перескочил он вдруг на другую тему. — Мое место уже занято? Наверно, слетелись коршуны? Конечно, не терпится поживиться падалью. Какая с... сидит в моем кресле? Уж не вы ли?

Я кивнул.

— Значит, — он с ненавистью посмотрел на меня, — теперь я могу спокойно умереть?

— Можете, но сначала вам надо вернуться в институт.

— В каком качестве?

— На свое прежнее место. Оно по праву ваше.

— А вас куда девать?

— Я бы снова стал вашим замом. Меня это всегда устраивало. Устроит и теперь.

— Не думаю, не думаю. Послушайте, Сапега... — прошептал он, делая мне какие-то таинственные знаки. — Крылов был доверчив... Формула... то есть вторая часть... — Боровский сделал паузу. — Где полная документация, я не знаю, но первая ее часть... все это находится у меня в сейфе.

— А вторая?

— Что — вторая?

— Не стройте из себя дурака! Вторая часть!

— Черт ее знает.

Не сказать, чтобы я вздохнул с облегчением.

— Но должна же быть где-то вторая часть документации! — воскликнул он. Что-то безмерно фальшивое было в его словах: словно он знал что-то, чего не знали другие. — Не могла же она бесследно исчезнуть. Там ведь должно быть все расписано...

— Как сводить с ума миллионы? Кстати, а где ключ от сейфа?

— Вы не поверите, он переломился пополам, когда я закрывал сейф...

— Экий вы!

— Одного понять не могу, как о формуле узнали эти ненормальные анархисты с револьверами. Как?.. — он недоуменно развел руками.

— Ваш язык, когда наберетесь...

— Что за лексика, коллега?

— Проболтались какой-нибудь шлюхе по пьяни.

— Сапега!

— Вы, кажется, рассчитываете на приют?

— Как вы бестактны!

— С вами иначе нельзя.

Он, видимо, хотел обидеться, но передумал.

— Впрочем, вы правы, сболтнул кому-то. Возможно, той же Тамаре Владимировне. Впрочем, она об этом могла что-то узнать от Крылова, когда работала у него. Вы знаете, он был в нее влюблен. До одури. Она успела им повертеть.

— Вы говорили об утюге. Дальше-то что было? И почему вас отправили во Флоренцию?

— Наверно, — он задумался, — чтобы запутать следы. Я ведь так и не понял, в какой стране была эта комната пыток с матрацами и ватными одеялами. Может, это была Франция, а может, и нет. Через пару дней, так ничего от меня не добившись, они, вероятно, что-то подсунули мне за едой, и очнулся я уже во Флоренции.

— Если они такие ужасные, как вы их расписываете, почему вы уцелели, почему вас не убили, в конце концов?

— Допускаю, что они не тупоголовые убийцы, а интеллигентные ребята, которые не могут вот так просто взять и кого-то убить. И потом, они, наверно, полагают, что из меня еще можно что-то вытянуть. Словом, я очнулся во Флоренции. И это стало

самым чудесным пробуждением в моей жизни. Еще вчера я был заключенным с неизвестными прогнозами на будущее, и вдруг — Флоренция! За окном бурлил, веселился, безумствовал один из самых красивых городов мира. Флоренция! Рядом со мной была прекрасная Тамара Владимировна. Господи, кто мог предположить, что эта красотка свяжется с криминалом!

— Как раз это и можно было предположить.

— Прекрасный город Флоренция... — дальше он понес околесицу: — Город прекрасный, но там на каждом углу продаются утюги с парогенератором по триста долларов за штуку. Век бы там жил, кабы не эти окаянные утюги. Если я в течение самого ближайшего времени не предоставлю им документацию в полном объеме, они из меня бифштекс сделают. А в сейфе только первая часть. Вот бы добыть вторую...

— А как же клятва Гиппократу?!

— Кто знает, существовал ли на самом деле этот ваш Гиппократ. Может, его выдумали? Это вопрос дискуссионный.

— Вы же медик, врач! Вы давали клятву!

— У меня диплом ветеринара. Я собачий доктор. Я не думаю о «не навреди», когда вспарываю брюхо крысе. Никакой клятвы я никому не давал. Не мог же я давать клятву Брему или Дарвину! А когда я защищал докторскую, ни о какой клятве и речи не шло: все только и думали, как бы поскорее усесться за банкетный стол с коньяками и разварной осетриной. А уж когда принимали в членкоры и действительные, то там, батенька, такая кухня... Впрочем, что это я вам рассказываю, вы это знаете не хуже меня. Короче, я сделаю все, чтобы восстановить документацию ремедиума.

— Как вам не стыдно, Боровский! Если эти ненормальные доберутся до ремедиума, они получат в руки оружие, страшнее которого не было во всей истории человечества!

— Хрен с ними, пусть получают, — буркнул Боровский. — О себе надо думать. Если я не дам им эту проклятую вторую часть, мне не жить.

— Если дадите, вам все равно не жить. Да и не только вам. Все помрут.

— Черт с ними со всеми! — завизжал он. — Чем плоха смерть, если ничего не соображаешь? Ах, господи, я совсем запутался, — Боровский схватился за голову. — Не знаю, что мне делать.

— А откуда у вас первая часть? — вкрадчиво спросил я.

— Сохранилась как-то.

— А вторая?

— Господи, ну, нельзя же так! — разнервничался Боровский. — Я же сказал, что не знаю! — и опять эта едва уловимая фальшь в голосе.

Было слышно, как он мелкими глотками прихлебывает виски.

— Кляки, Тибосики и Мамаыни, будь они прокляты! — воскликнул он спустя минуту. — Человечество сходит с ума уже много столетий. Но сейчас этот процесс невероятно ускорился... словом, мир пошел в разнос. Как та домашняя кофемолка, которую по ошибке подключили к трехфазному току. Еще немного, и человечество ухнет в пропасть. Не хватает последнего толчка, завершающего штришка, чтобы все рухнуло.

— Вот они и хотят с вашей помощью...

— Да, ремедиум, к сожалению, мог бы стать таким штришком.

Боровский поставил стакан на стол.

— Впрочем, процесс всеобщего сумасшествия и так, безо всякого ремедиума, набирает ход. Скоро все свихнутся. Хотите пример? В прошлом году я получил новый паспорт. И только вчера как следует его рассмотрел. Оказывается, он действителен до 2295 года.

— Это не паспорт, а прямо-таки пропуск в бессмертие! — восхитился я.

— По всей видимости, паспортистка сошла с ума.

— Скорее, ее вдохновил ваш бравый вид.

— И поэтому она решила, что мне по силам превзойти геронтологический рекорд Мафусаила?

— Берегите паспорт. Берегите как зеницу ока. Когда вам стукнет триста тридцать пять, не забудьте его поменять.

— Не забуду.

— Поменяете и проживете еще триста тридцать пять.

Он вздохнул.

— Хорошо бы. Но если я не хочу загнуться раньше, мне придется что-то придумать...

— Дайте этим вашим мучителям хоть что-нибудь! Напишите какую-нибудь абра-кадабру, скажите, что это и есть формула. Или отдайте им первую часть. Все равно без второй первая бесполезна. А я уж как-нибудь и без ключа отомкну этот ваш ока-анный сейф.

— Отдам первую, они потребуют вторую.

— Получите хотя бы передышку.

— Что она мне даст? Жить в страхе, зная, что в любой момент тебе в качестве аргумента могут предъявить раскаленный утюг?

— Почему вы их так боитесь? И почему бы вам не обратиться в полицию?

— У них везде свои люди. И они за мной следят... — Боровский пожегся. — Я должен вам признаться, Илья. Я проявил слабость... я им сказал, что мне известна лишь первая часть ремедиума, что, в общем-то, соответствует действительности. А вторая часть известна... простите, но я назвал ваше имя. Так что ждите неприятностей.

— Спасибо, удружили!

— Я повел себя недостойно, признаюсь. Но знаете, когда над твоей головой занесена секира, о других не думаешь. Кстати, Сапега, я тут сделал интереснейшее открытие. Оно наверняка вас заинтересует. Вот послушайте. Оказывается, Бог не всемогущ.

— При чем здесь Бог! Нас со дня на день могут прикончить, а вы о Боге! — закричал я. — Вы можете отвечать по существу?

— Отвечаю, как могу, — кротко сказал Боровский. — Так вот. Бог ничем не управляет, никем не руководит, он просто отсиживается на небесах и в ус не дует. Мы можем себе лоб в мольбах и поклонах расшибить, прося его о помощи, а Богу на все это начхать, он, быть может, и хотел бы вмешаться в нашу жизнь, но силенок у него мало-вато. Бог вышел у меня из доверия. А как же рай? — спросите вы. Это в крови у нас — мечта о рае. Вот мы все и мечтаем, как идиоты... сами не зная о чем... а рая никакого нет... есть ад, и он находится на земле... — Боровский внезапно умолк, голова его поникла, и я услышал храп.

...Боровский прогостил у меня несколько дней. Вне всяких сомнений, у него было частичное помрачение рассудка.

Не думаю, что в его рассказах о кровожадных юнцах было много правды. Скорее всего, он слишком увлекся в последнее время выпивкой и женщинами. В его годы полезно задуматься об умеренности во всем, что касается удовольствий.

По вечерам мы предавались умеренному пьянству и болтовне.

Но к разговору о Крылове, Тамаре Владимировне со шпагой на боку, ключах к сейфу, утюгах он больше не возвращался. Это давало надежду, что все еще обойдется и он выздоровеет. Порой наши беседы касались щекотливых тем. И фамильярность здесь была уместна. Инициатором этих разговоров, как правило, был я. Я провоцировал его на откровенность. Мне доставляло извращенное удовольствие, фигурально выражаясь, щекотать Боровского под ребра — так делают матадоры с разъяренными быками. Как-то я его спросил:

— Послушайте, Боровский, вы когда-нибудь были влюблены? По-настоящему, с ревностью, вздохами, свиданиями при луне, любовным томлением и прочими штучками в этом роде?

Он окинул меня снисходительно-сострадательным взглядом, потом посмотрел на свое отражение в зеркале, подбоченился и прокричал:

— А как же, конечно, любил! И неоднократно. Хотя, если честно, я с трудом улавливаю, в чем смысл вашего вопроса.

Он вдруг как-то поскущел, сник и, старчески пожевав губами, уже тихим голосом сказал:

— Как вам известно, я эгоист. Обычно эгоисты в этом не признаются, я же этот грех за собой числю и сознаюсь в этом с чувством глубочайшего сожаления, цените мою чистосердечность. Так вот, я эгоист. Именно по этой причине я не могу кого-то любить больше, чем самого себя. Мои закрома любви строго лимитированы. Мне приходится с этим считаться и быть экономным. Впрочем, это происходит помимо моей воли, если бы я, к примеру, вознамерился полюбить какую-то обворожительную капризулю, как способны полюбить безответственные субъекты вроде вас, то внутри меня сам собой сработал бы мощный механизм защиты, который не позволяет мне в любовных отношениях заходить слишком далеко.

— Но это же ужасно! Это означает, что вы не можете черпать жизнь полной мерой! Вспомните Гёте!

— Нашли кого вспоминать! Старый греховодник врал, когда писал о любви. Он просто был развратным типом, этот ваш Гёте. Прикрывал талантом и стихами свои низменные инстинкты. Да, он хотел все испытать. И испытал. И, всем довольный, помер в объятиях вздорной бабенки, любившей наряжаться в пышные страсбургские юбки. Да, я не испытал того, что вы, бездельники и вруны, испытываете, стоит только на горизонте появиться той, которая, по вашему мнению, достойна самой пылкой, самой головокружительной любви. Мне вполне хватает того, что на тарелочке преподносит мне судьба, я имею в виду женщину в чистом виде, желательно без одежды, — он замолчал и грустно уставился на меня.

— Я не совсем понимаю вас...

— Сейчас поймете. Признаюсь вам еще в одном... даже не знаю, как это назвать... недостатке, что ли. Нет, нет, это не недостаток, это, скорее, особенность моей личности. Во мне все так переплетено! Благородство соседствует с цинизмом, скупость с расточительностью, скромность с наглостью. Так вот, об особенностях. Мои сексуальные запросы не так-то легко удовлетворить. А я им придаю большое значение. Меня всегда распирало неуправляемое желание немедленного соития. Только бы вонзиться в кого-нибудь, у кого есть эта штучка между ногами! Меня и сейчас, несмотря на мои почтенные лета... Послушайте, Сапега, давайте вызовем парочку доступных шалуний, а? Позвоните куда-нибудь, в какое-нибудь приличное заведение, лучше в агентство «Глобус», там такие девушки! Только не тяните, не то я сойду с ума! Надо вызвать таких, которые знают толк в этом деле и работают с душой, с огоньком... — глаза Боровского вспыхнули.

— Вы несносны, Боровский. У вас все по Фрейду...

— При чем здесь Фрейд! Во мне самом сидит такой Фрейд, врагу не пожелаешь. И дюжина психологов, психоаналитиков, психиатров и неврологов его из меня не вынут. Лучше всего, — он почмокал губами, — лучше всего мне бывает с проститутками, молодыми, но уже опытными, любящими свою профессию, знающими цену этому благородному делу, отдающимися не столько за деньги, сколько по призванию, по зову сердца! О! эти испорченные девчонки прекрасно понимают меня! Кстати, немислимые по силе желания мешали мне заниматься другими делами, наукой например.

Как тут усидишь за рабочим столом, когда у тебя все мутится в голове! И как ни стыди себя, как ни призывай на помощь остатки здравого смысла и воли, ничто не помогает! Но зато когда я дорывался до женщины, я испытывал такие умопомрачительные чувства, какие вам, примитивным простакам, и не снились.

По утрам мы завтракали на кухне. Боровский уговорил меня каждый раз готовить ему гигантскую яичницу с колбасой, фасолью и прочими завлекательными ингредиентами.

— Я в восторге, Сапега! Вы ошиблись при выборе профессии: вам бы в повара. Таких яичниц не едал даже Людовик Пятнадцатый, как известно, обожавший лакомиться куриными яйцами. Пожалуй, я к вам перееду... навсегда, — пугал он меня, вытирая жирные губы и с трудом сдерживая отрыжку.

Как-то я заметил у него на лбу замершую в неподвижности среднего размера муху, появилось естественное желание немедленно ударить Боровского по лбу и убить ее. Со словами «Убью, гадюка» я замахнулся...

— Вы с ума сошли! Это не муха, — закричал он, защищаясь рукой, — это я в ванной обо что-то ударился. Понаставили всяких остроугольных штук... Не подумали о людях. Вот у вас так всегда.

Спустя неделю Клара Ивановна простила мужа, и Боровский, прихватив топор, переехал на Кутузовский проспект. Я вздохнул с облегчением.

В институте Боровский не появлялся. Постепенно загадочная парижская история выветрилась из голов его бывших коллег: память, когда речь идет не о тебе и не о твоих близких, штука, как известно, короткая и непрочная.

Как сказал Боровский? Если умело применить ремедиум, можно свести с ума целые города, страны и континенты?

Не это ли говорил мне Крылов незадолго до кончины? Он предупреждал меня, а больше самого себя, что это может привести человечество к гибели. Мы оба знали, что с помощью ремедиума можно вызвать пандемию. Тут умница Боровский прав.

Боровский и Крылов дружили со студенческих лет. Но это не мешало им быть по отношению друг к другу не до конца откровенными. В нашем суровом неприветливом мире каждый ведет свою игру, я в том числе. Поэтому далеко не всегда я посвящал Боровского в свои планы. Боровский знал обо мне ровно столько, сколько ему позволялось. Боровский и не догадывался, что в последние годы Крылов часто вел со мной приватные беседы. Уже после рабочего дня, когда пустели институтские коридоры, а Боровский, как ненасытный Минотавр, уволакивал очередную жертву к себе на Кутузовку, мы запирались с Крыловым в его кабинете и, перебивая друг друга, до хрипоты спорили, каждый доказывая свою правоту. Ремедиум уже был нами изобретен и испытан в лабораторных условиях. Оставалось пустить его в дело. Мы оба признавали, что если ремедиум попадет в чужие руки, он станет опасней и страшней водородной бомбы. Именно поэтому мне было необходимо как можно скорей изъять из сейфа материалы, о которых говорил Боровский. При условии, что он не врал и они действительно еще находятся там.

Крылов мне доверял. Больше чем кому-либо. Он знал, что в институте было всего несколько светлых голов. Одна из них, самая светлая, принадлежала ему. Другая мне. Третья — Боровскому.

Обе части формулы ремедиума находились в двух из этих трех светлых голов. Одна голова покоилась на Даниловском кладбище. Вторая была пока жива и размышляла, что ей делать с третьей.

Я не раз задавался вопросом: откуда у Боровского столько денег, что он меняет машины каждые два года? Может, какая-то секретная бухгалтерия помещалась у него в голове? Как у меня сейчас? И Самсонов о чем-то догадывается?

По ночам мне снился ключ от засыпного сейфа. Ключ был похож на метлу. Метлой я заметал мусор в угол, в котором стоял и печально улыбался покойный директор Крылов.

Может, в сейфе находятся тайные счета?

Я несколько раз звонил Боровским на Кутузовку. Квартира молчала. Молчал и мобильник Боровского.

Засыпной сейф я открыл через неделю. Без ключа. Это оказалось проще пареной репы. Стоило только покопаться в Интернете. Я покопался и уже через пять минут нашел то, что надо, а именно: статью некоего народного умельца, на пальцах объяснявшего, как изготовить миниатюрную адскую машину в домашних условиях. И как использовать ее, если вы решили, не повредив содержимого, вскрыть бронированный сейф. Сразу скажу, что умелец не подкачал.

Я остался на ночь в кабинете и уже утром стоял на коленях перед распахнутой дверцей сейфа, чихал от черного дыма и чертыхался. Сейф был пуст. Прежде чем захлопнуть дверцу, я, подсвечивая себе фонариком, внимательно исследовал полочки внутри сейфа. Две были покрыты тонким слоем пыли, и это понятно: сейф старый, со щелями. На третьей же, верхней полке, судя по следам пыли, некогда лежало что-то, имевшее прямоугольную форму. Вероятно, тетрадь, о которой говорил Боровский. Итак, кто-то рылся в сейфе до меня.

Запах дыма выветрился из кабинета через неделю.

Я опять позвонил Боровскому. С тем же неутешительным результатом.

Боровский говорил, если не врал, что он не обладает полной информацией о ремедиуме и что у него была лишь часть документации. Восстановить остальное ему, судя по всему, было не под силу. Мысленный эксперимент не давался. Видно, память стала подводить Боровского.

Глава 5

Последнюю неделю ноября я провел на юге, в Балаклаве. Дела в Центре складывались удачно, я выручил порядочную сумму, и меня потянуло в теплые края: захотелось прогреть желудочно-кишечный тракт крымскими портвейнами. Погоды стояли ясные, теплые. Перепутав позднюю осень с весной, зацвели астры.

— Астра того аромата не дает, — говорил мне торговец цветами на набережной, по которой я каждое утро совершал пробежки, — но вид и цвет свой имеет.

Пришлось купить букетик. Я подарил его служащей отеля, с которой у меня завязался сверхкороткий курортный роман.

Действительно, астра вид и цвет свой имеет. Махровые корзинки соцветий поражали разнообразием: они были белого, голубого, розового, синего, сиреневого, красного, фиолетового и даже черного цвета. Вот уж не думал, что простенькие цветы могут так меня растрогать, вернее, приятно растревожить. И небо! Ах, это небо, высокое, пронзительно синее, бездонное, оно было, как по заказу, без единого облачка. Лаская слух, шипел прибор, свежий солоноватый ветер заполнял легкие и навевал сон. Совесть была чиста, голова пуста, сердце стучало уверенно и мерно. Настроение после пробежек и портвейнов было превосходным. Одно беспокоило. Временами мне казалось, что за мной кто-то наблюдает. Кто-то, от кого исходит скрытая угроза. Так и тянуло оглянуться. Но это можно было приписать последствиям парижского происшествия. Мозги встряхнулись и никак не встанут на место.

Повстречал много знакомых из Москвы и Питера.

Все они, заговорщицки поглядывая друг на друга, говорили примерно одно и то же:

— Мы настроены достаточно патриотично, чтобы отдыхать не в каком-то там вшивом Таиланде, а на отвоеванном у друга полуострове.

...Я столкнулся с Пьером Терновским за день до отъезда. Он вывернулся из толпы пожилых отдыхающих, которые, размахивая специальными палками, деловито шествовали по набережной, и, расставив руки, бросился ко мне.

— Земля, мсье Сапега, — говорил он, улыбаясь, — шаровидна. С некоторых пор мне стало казаться, что это шар не больше школьного глобуса. Шагу не ступишь, чтобы не нарваться на знакомую или знакомого.

Мы зашли в ресторан.

— Я ведь отсюда родом, — сказал он, опережая мой вопрос. — Вот решил наведаться в пенаты. Поскольку у меня три паспорта, — украинский, российский и французский, — пройти пограничный контроль и таможеню не составило труда. А вот с родственниками беда: умерли все до единого. И отец, и мать, и дядя с тетками...

Под влиянием спиртного и шашлыков мы постепенно разговорились. Я спросил, как это ему, уроженцу Крыма, удалось обзавестись петербургским выговором.

— Я учился в Питере, у профессора Воскобойникова. А он петербуржец с глубокими корнями. Я старался ему во всем подражать.

— Хорошо старались. Но позвольте, ведь Воскобойников, насколько мне помнится, психиатр. Как вы стали терапевтом?

— В те годы было перепроизводство психиатров. Я мог остаться без работы. Пришлось переквалифицироваться. Таким образом, психиатром я не стал, а выговор остался, спасибо Воскобойникову. Вообще, это был удивительный человек. Он любил Россию... как бы это сказать... преданно, так, как любили ее, если верить книгам русских писателей, прежде. Он был настоящий, не липовый патриот. Он любил Россию любую, лапотную и просвещенную, словом, всякую, грязную, матерящуюся, побеждающую, отступающую, кровью умытую... Удивительно цельный был человек, уверенный в прекрасном будущем России. Да, Воскобойников... Его в институте либо ненавидели, либо обожали. Я преклонялся... Чем-то он мне напоминал Чехова. Ну, того Чехова, о котором говорил Довлатов, который... простите, — он смущенно замолчал. — Можно благоговеть перед умом Толстого. Восхищаться изяществом Пушкина. Ценить нравственные поиски Достоевского. Юмор Гоголя. И так далее. Однако похожим быть хочется только на Чехова. Кстати, в Питере я жил в доме, в котором бывал Довлатов.

Я с интересом посмотрел на Терновского. Так, наверно, смотрел на меня мой отец, когда я в десятилетнем возрасте сказал ему, что не могу оторваться от рассказов Чехова.

Я решил и дальше помучить его вопросами:

— А откуда у вас такой безупречный французский?

— О! Чтобы ответить на ваш вопрос, придется нырнуть в девятнадцатый век. У меня в предках по отцовской линии француз Гастон Терни́, капитан артиллерии при Наполеоне Третьем. Там целая история, в которой немало романтики. Этот капитан после Крымской войны 1856 года остался в Симферополе в составе группы парламентариев. Квартировал он в доме полицеймейстера со смешной фамилией Семибаба, — улыбнулся Терновский. — У полицеймейстера была очаровательная дочка. Естественно, пылкий француз влюбился. А потом и женился. Женился и уже больше никогда не покидал Россию. Кстати, у капитана в родственниках были Огюстен и Амадей Терни́, один известный историк, другой сенатор и министр, — скромно заметил он. — Традиция нашей семьи балаболить дома по-французски передавалась из поколения в поколение, не утрачена она и поныне. Спасибо Гастону Терни́. У моего двенадцатилетнего сына, к слову, произношение истинного парижанина. Правда, для этого ему не надо было особенно напрягаться, — засмеялся Пьер, — он уже пятый год посещает школу рядом с нашим домом. Э-э-э... на чем я остановился? Да, на фамилии. Если бы капи-

тан взял фамилию жены, то стал бы тоже Семибаба. Представляете, Гастон Семибаба? М-да... Итак, прекрасная дочка полицеймейстера вышла замуж и стала мадам Терни.

— Так вот откуда фамилия Терновский.

— Да, мы, и живые и мертвые, уже давно все Терновские. Как видите, обрусели не только потомки капитана, обрусела и фамилия. Кстати, такая интересная подробность, у нас с женой квартира в квартале, который называется Терн, это семнадцатый аррондисман Парижа. Терн, Терни, Терновский, не правда ли, забавное совпадение? Мир переполнен совпадениями, надо только уметь их улавливать. Я очень полюбил Францию. Представляете, я живу на улице Ла-Кондамин, в доме номер пятьсот пятьдесят пять. В этом доме бывали Золя, Верлен, Малларме, Мане, Модильяни... Там и доска висит с именами этих почтенных господ.

— Завидую, — сказал я искренне.

— Vous serez à Paris, venez nous rendre visite, monsieur Sapega⁴.

— Merci pour l'invitation, monsieur Ternovsky-Semibaba⁵.

Он захохотал так громко, что в нашу сторону обернулись посетители ресторана.

— Один ноль в вашу пользу, — сказал он, вытирая слезы. — Позвольте и мне вопрос. Откуда у вас такой прекрасный французский?

— Мой отец был дипломатом. Детство я провел в Бельгии.

— Так вот почему вы говорите с таким ужасающим акцентом!

— Один-один.

Он опять расхохотался.

Поскольку его визитную карточку я куда-то подевал, Терновский вручил мне новую. Сказал, что принимает с понедельника по понедельник в любое время суток. На прощание он поинтересовался моим здоровьем, напомнил о докторе Радлове и его подмосковной клинике:

— Радлов снимает любую боль. Он просто волшебник. Уникальный врач.

Глава 6

Вернулся я в слякотную Москву в начале декабря.

Заглянул к Самсонову.

— Мне не дает покоя вся эта история с Боровским, — ворчал директор. — Вы с ним так и не виделись... с тех пор?

— Странный вопрос...

— Ну-ну, не обижайтесь. Кстати, когда вам присвоили звание профессора? — спросил он, глядя мимо меня.

— Не помню. Наверно, лет пять назад.

— А когда защитили докторскую?

— Года за два до этого.

— Видите ли, Илья Ильич, — он замаялся, — я уже давно в директорах, а у меня нет даже кандидатской степени. Даже как-то неудобно. У вас обширные знакомства в научных кругах...

— Вы хотите, чтобы я за вас защитил диссертацию?

Он заскрежетал зубами.

— Мы вернемся к этому вопросу позже, — произнес он официальным тоном. — У меня к вам просьба, Илья Ильич, — он вышел из-за стола и, глядя себе под ноги, принялся, по обыкновению, шагать из угла в угол. — Если у вас будут какие-то затруд-

⁴ Будете в Париже, заходите в гости, мсье Сапега (*фр.*).

⁵ Спасибо за приглашение, мсье Терновский-Семибаба (*фр.*).

нения, в смысле финансирования, можете смело обращаться ко мне. И еще я хотел бы от вас получать более подробную информацию о деятельности Центра.

— Научный отчет вот-вот будет готов...

— Я не об этом, — он поморщился. — Мне нужен финансовый отчет. Но не тот, который, а тот... словом, вы меня понимаете.

— Простите, не понимаю.

— Я имею в виду тот... который вел мерзавец Боровский.

— Я попросил бы, — сказал я ледяным тоном, — больше не называть при мне мерзавцем человека, с которым меня связывают дружба и долгие годы совместной работы.

— Да что вы, голубчик, — пролепетал директор, — это я так....

— А что до остального, вы же знаете, уважаемый Дмитрий Иванович, собственной финансовой отчетности Центр не ведет, все деньги поступают из министерства и проходят через руки главного бухгалтера института, а он подчиняется напрямую вам.

— Если бы это было так! — вырвалось у Самсонова.

Глава 7

Прошло полгода. Навалились новые заботы, новые дела. Временами мне не хватало Боровского с его необузданным цинизмом, своеобразным чувством юмора и жизнерадостием. Хотя он и любил жаловаться, я прекрасно знал, что все это рисовка. Он был оптимистом до мозга костей. Он как-то сказал мне, что оптимист не тот, кто говорит, что все будет хорошо, а тот, кто говорит, что не все будет плохо.

Приезжал Антонио даль Пра, вице-президент компании «Альфа Сорренто». Я постарался показать ему все, чем богата и интересна Москва. Антонио был поражен: с детства ему внушали, что Россия — это огромная равнина, по которой носится лихой человек с автоматом Калашникова в руках. А тут он с изумлением обнаружил, что русские мало чем отличаются от итальянцев. Так же много болтают, так же надеются на «авось», так же ругают правительство, так же целуются при встрече, так же гостеприимны, так же переживают успехи и неудачи своих спортивных кумиров, так же любят женщин, так же безалаберны и сумасбродны и так же буйно веселятся, не думая о завтрашнем дне. В результате ошалевший от впечатлений итальянец заключил со мной прямой контракт, в котором мне особенно понравился итоговый параграф, где щедро, по заслугам оценивался мой труд.

Мне удалось переманить в Центр двух светил фармакологии, одного из Самары, другого из Пятигорска, и столкнуться со здравомыслящими доброхотами из разных министерств о дополнительном финансировании. В Центр потекли деньги, пусть небольшие, но все же это были деньги. Все было опрятно и законно. Теперь я мог позволить себе каждый день обедать в «Славянском базаре». Но я боялся расползнуться, поэтому перекусывал неподалеку от института в дешевой пиццерии, которую держали черноусые выходцы с Востока.

Несмотря на видимые успехи, меня что-то подгрызало. И не понять что. Вроде все складывалось удачно. Я был при деньгах, девушки меня не обходили стороной. Правда, у меня временами побаливала голова, но все остальное не болело и функционировало так, как должно функционировать у крепкого мужчины моих лет. И тем не менее что-то было не так. С каждым днем мной все больше и больше овладевало чувство уныния. Может, многолетнее служение науке не прошло для меня бесследно? Похилилась мифическая станова жила души? Я, психиатр, не мог разобраться в самом себе. Я был, как говорят чуждающиеся полутоннов американцы, не в порядке.

Потянулась череда тоскливых дней. Каждый новый день мало чем отличался от вчерашнего, а если и отличался, то в худшую сторону: был чуть дождливей, чуть се-

рей, чуть безнадежней. В такие дни нельзя давать хода серьезным мыслям: можно доиграться до истерики.

Как-то вечером, полеживая на диване в своей квартире на Покровке, я листал страницы теперь уже почти забытой книги Викторина Сергеевича Дерябина «Чувства, влечения, эмоции». Знаменитый фармаколог утверждал, что движущей силой являются эмоции. Интеллект сам по себе бесплоден. Ум, освобожденный от влияний эмоций, похож на механизм, из которого вынута пружина. Разум — только рабочий аппарат.

Я отложил книгу в сторону и уставился в потолок. Я понял Дерябина так: чтобы наладить мозговой аппарат, следует по ватерлинию загрузить его эмоциями. Для этого необходимо пережить землетрясение, побывать на фронте, потерять при этом, если повезет, ногу или глаз, совершить налет на банк, слетать на Луну, изменить пол, отправить родного брата, переспать с собственной дочерью, вылечиться от алкоголизма, потом за все это получить в награду Нобелевскую премию и застрелиться. Иначе не получится. Поскольку книгу Дерябина уже давно никто не читает, человечество еще долго, ни черта не понимая, будет катиться к космической выгребной яме под управлением циников, освобожденных от влияния эмоций. Правда, в этом движении к гибели им может помочь ремедиум, если его умело применить.

Итак, разум — это только рабочий аппарат. За этот хорошо налаженный рабочий аппарат и необыкновенную легкость в мыслях я бы без сожаления отдал полцарства, если бы оно у меня было.

С некоторых пор я живу с ощущением, что я кому-то что-то должен. Я не могу обрести покоя, который я временно обрел в Балаклаве под влиянием крымских португальцев, карских шашлыков, мимолетного романа с покладистой сотрудницей отеля, красивых цветов без запаха, моря и безоблачного неба. И не понять, откуда во мне взялось это ощущение. Мой мозговой аппарат явно нуждался в ремонте. Надо бы внимательней почитать Дерябина. И еще слезка. И хотя я знаю, что все это чушь собачья, избавиться от этого я не в силах. Ничто не помогает. Ни работа, ни вино, ни женщины. Меня по-прежнему тянет оглянуться. Кроме того, у меня возникли проблемы со сном: если мне и удастся заснуть, я вижу беспокойные сны. Опять же — голова. Надо бы проверить ее на томографе. А потом заехать к доктору Радлову, которого так красочно расписывал мне Терновский-Семибаба.

Когда-то Боровский высказывался о величии замысла. Его персональное величие замысла — это красивые бабы и дорогие машины. А у меня? Замысел есть, а величия — кот наплакал?

Сартр сказал, что «человек — это совокупность поступков и событий». Как же это примитивно и одновременно выпендрено и фальшиво! Ни слова о душе, теле, костях, сером мозговом веществе, мясе и коже. Черт бы побрал этого Сартра!

Как мне хочется оказаться на борту тонущего океанского лайнера! Там бы я во всю глотку заорал: «Спасайся, кто может!» — и первым, сталкивая в воду женщин и детей, впрыгнул бы в спасательную шлюпку. Вот вам событие — тонущий корабль, вот вам поступок — вопль вмиг потерявшего человеческий облик пассажира. Да, человеком тут и не пахнет. Кстати, на большее я не способен: в этом реве уместился бы весь я. Это как «Крик» Мунка. Отчаяние, одиночество, отчуждение. Но с каким же остервенением и мощью нужно заорать, чтобы тебя услышали и на земле, и на море, и на небесах, и в твоей собственной душе?

А она отмерла. Не успев загрузить ум положительными эмоциями, душа отошла в мир иной. Вместе с ней туда же грохнулся и интеллект. Все как у Дерябина.

Жизнь на глазах теряла смысл. Все суета сует. И всех нас ждет один конец: кого раньше, кого позже. И неважно, когда к тебе припожалует околеванс: сегодня ночью или через сто лет. Вот к чему приводит одиночество. А я был одинок, несмотря на че-

реду любовниц. Они спасали от тоски лишь на считанные мгновения. Эти мгновения были так быстротечны и неуловимы, что их нельзя было закрепить в памяти частым повторением.

Все это в русской традиции — я имею в виду смешение черного с белым. До происшествия на парижском перекрестке со мной такого не водилось. Похоже, ко мне пожаловали волны сумасшествия, не имеющие никакого отношения к ремедиуму.

В тот вечер мне совсем расхотелось жить. Как когда-то Боровскому. Хорошо бы с ним, если он жив и его еще не прибила сковородой Клара Ивановна, подискутировать на эту тему. Но Боровский как в воду канул.

Я подошел к окну. Качалась и дрожала на ветру чахлая ольха, постукивая, как костяшками пальцев, оголенной веткой по стеклу. Свет за окном серый. Это значит, что все, что находится там, за окном, от этой ветки до далекого-далекого Атлантического океана, Скалистых гор, Сахары, лондонского Тауэра, Большого Каменного моста, капельки кровавой мочи на стенке писсуара в туалете парижского кафе, титановой плательницы перед входом в Хрустальную пещеру, гниющего распятия на Лысой горе, мутной воды, с плачем и грохотом низвергающейся в канализационный слив, истрепанной книги, раскрытой на слове «проклятие», — все серо, серо, серо! Тому, кто вознамерился бы в тот час повесить меня, я бы помог намыливать веревку. К утру температура моего тела понизится до комнатной, и все мои проблемы уйдут в небытие.

И тут на ветке я увидел горлицу. Сидит себе на грубо сварганенном гнездышке и, дрожа на ветру и осторожно встрепывая крыльями, высиживает птенчиков. Голуби, конечно, не самые симпатичные из пернатых. Гадят где ни попадя... да и заразу разносят. Вот тебе и голуби мира! Во всех городах нашей бескрайней Отчизны эти засранцы обгадили чугунные, гранитные, гипсовые, мраморные и медные макушки основоположников научного коммунизма! Маркса не пощадили! Мерзкая птица. Но как бережно и трепетно голуби заботятся о своем потомстве! Ольха дрянное, надо сказать, деревце — кривое, хилое — и качается, стоит чуть ветру подуть. И вот там, на этой самой поганой ольхе, на тонюсенькой веточке, полоумная горлица свила гнездо. Дуреха! Днем солнце жарит, ночью ливень хлещет и ветер свищет! Условия невыносимые! Словом, ветер воет, гром грохочет, синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. А ей все нипочем, сидит себе на яйцах, раскачивается да глаза пучит. И будет так сидеть, пока не высидит птенцов. Героическая птица! Интересно, мог бы я, если бы был птицей, полмесяца, пуча глаза, просидеть на дереве, да еще на ветке, сотрясаемой от мелкой дрожи?

Ах, если бы не Тамара Владимировна, не знаю, что случилось бы со мной к утру. Может, превратился бы в птицу.

Я был рад любому визитеру. Даже такому, как она. Она позвонила, словно угадав, в каком состоянии я нахожусь. А я еще утверждал, что она не роковая женщина! Правда, с ее появлением у меня, наверно, прибавится забот, я хорошо помнил, что мне рассказывал Боровский, если не врал, о ее роли в его европейском анабазисе. Опасная, непредсказуемая женщина. Но ходить по острию ножа и выискивать проблемы себе на голову — это как раз то, что, возможно, меня и излечит от хандры.

Тамара Владимировна приехала через час.

Рядом с ней топтался таксист с двумя огромными баулами, полными снеди и спиртного. Когда он удалился, я спросил ее:

— А где шпага?

— В ломбарде, — делано засмеялась она. Значит, не все, что наболтал мне Боровский, было выдумкой. Значит, были они — эти его мучители. И шпаги, и утюги, и комната с матрацами, и мальчики с девочками у компьютеров. И «Веселый Роджер» под толком. Все это было. Не случаен ее визит. Как бы со мной не приключилось беды, как

совсем недавно с Боровским. Впрочем, меня это не пугало. В меня словно вошел холодный стержень, который пронизал меня всего от макушки до пяток. У меня появилось предчувствие, что очень скоро моя жизнь может превратиться либо в трагедию, либо в сплошное ликование. И то и другое меня устраивало.

— Мог бы и побриться, — целуя меня в щеку, сказала она, — все-таки к тебе приехала женщина, влюбленная в тебя по уши.

Она нашла на кухне два стакана, тщательно вымыла их, вытерла вафельным полотенцем до приятного скрипа. Потом открыла бутылку и плеснула в стаканы.

Один протянула мне. Я спросил:

— Ничего не подмешала?

— Выпей — узнаешь.

— Зачем ты приехала?

— Любовь с годами только крепчает, — сказала она с беззаботным видом и показала мне язычок.

— Это не повод вторгаться в мою жизнь.

— Я поняла, что жить без тебя не могу.

— Как давно поняла?

Она посмотрела на часы.

— Три часа тому назад, — сказала она и потянулась.

За окном стонал ветер, голая ветка стучала по стеклу.

Ночь навалилась внезапно — словно стояла за углом. На миг вернулись времена, когда я был болен любовной горячкой. Умирать расхотелось. За годы, прошедшие со дня нашего расставания, Тамара Владимировна, судя по всему, не теряла времени даром. Тело ее приобрело волнуемую упругость, какая бывает у женщин, активно занимающихся спортом и сексом. Порочная неуверенная девочка, прежде прятая в ней и так привлекавшая меня своей трогательно-нежной сексуальностью, уступила место зрелой женщине, знающей толк в любви. Я словно спал с другой, новой, женщиной. Тамара Владимировна, не скупясь, обучала меня маленьким любовным шалостям. У нее был их целый набор. Скоро я потерял им счет. Несколько раз она сделала мне больно. Змеей извиваясь подо мной и кусаясь, эта чертовка шептала:

— Я люблю тебя... Я никого никогда не любила так, как тебя. И мне никогда, ни с кем... не было так хорошо, как сейчас... Еще, еще, еще! Ну, еще же! Скажи, что меня любишь... Я умираю...

Врет, врет, врет. Болтает без умолку. Ложь — прекрасная вещь, это смертоносное оружие, если оно находится в опытных руках.

К утру я был вымотан и так опустошен, что стукни по мне кулаком, наверно, загудел бы, как пустой пивной бочонок. Ночь вымела из меня дурные мысли о смерти.

Тамара Владимировна убедительно доказала мне, что тело влияет на душу не меньше, а то и больше, чем душа — на тело.

Мне было совершенно ясно, что появление Тамары Владимировны не носит, так сказать, случайного характера. Кляки, Мымыни и прочие прохиндеи, похоже, наконец-то подобралась ко мне. Посмотрим, что Тамара Владимировна предложит мне: утюг или мешок с деньгами.

Солнечный луч пробил тяжелую портьеру. Утренний ветерок проник в комнату вместе с шумами большого города. Прокукарекал петух, которого вместо будильника в соседнем подъезде держит на балконе какой-то свихнувшийся оригинал из провинции.

Тамара Владимировна резко встала, накинула на плечи шелковый халат с птицами и уже из ванной крикнула:

— От халата пахнет моей предшественницей. Видно, богатая была баба. Не каждому по карману «Шанель номер пять».

Пока она принимала душ, я успел заснуть. Приснились мне голубая поляна, голубой лес и синее-синее небо с белоснежными облаками, по которым босыми ногами мягко, пружинящей походкой ступал седобородый старик с нимбом над плечью. Старик был так огромен, что заслонял собой солнце. Когда он нагнулся, чтобы что-то мне сказать, свет резко ударил мне по глазам, и я проснулся. Шторы были отведены в стороны, за окном было совсем светло. Тамара Владимировна сидела на краю кровати и, склонив голову набок, черепаховым гребнем расчесывала волосы.

— Откуда у тебя женская расческа?

— Не помню...

— Я всегда любила только тебя, — скороговоркой сказала она и придвинулась ко мне.

— Сколько раз ты была замужем? — спросил я, отодвигаясь.

— Не знаю, ну правда, не знаю, — она беспечно засмеялась. — Помню только, что меняла фамилию шесть раз.

— И какая у тебя сейчас?

Она задумалась, припоминая.

— Ван де Вельде.

— Твой муж бельгиец?

— Бывший муж, — уточнила она. — Он был бельгийцем, когда мы развоились, надеюсь, бельгийцем и остался. Да, — она что-то сосредоточенно шептала, загибая пальцы, — он был шестым.

— Богатая же у тебя биография...

— Что скрывать, мужей у меня было предостаточно. Разве я виновата, что от природы любопытна, что мне непрестанно нужны перемены, новые впечатления. Но любила я всегда только тебя, — отчеканила она. — Я такая, какая есть. Кстати, ты женат? Каков на настоящий момент твой, так сказать, социальный статус?

— С некоторой натяжкой меня можно назвать вдовцом.

— Вдовцом? Какая удача! Но почему с натяжкой?

— Моя жена погибла в автокатастрофе. К этому трагическому моменту мы были уже в разводе.

— Это значит, — обрадовалась она, — что препятствий нет. Можешь смело делать мне предложение. Поменяю фамилию последний раз и на этом успокоюсь. Как ты думаешь, мне подойдет фамилия Сапега?

— Я поклялся Боровскому, что никогда не женюсь.

Она присвистнула.

— Нашел кому клясться!

— Ты же будешь мне изменять, — продолжал я отбиваться.

— Тебя это пугает? — удивилась она.

— Я не могу жениться, если я, если я...

Она захохотала.

— Если ты меня не любишь? Во-первых, любовь со временем может к тебе вернуться. Уж я бы постаралась! А во-вторых, если бы я каждый раз выходила замуж по любви, от меня ничего бы не осталось. Запасы любви не беспредельны. Надо быть экономной и практичной.

Я про себя отметил: то же самое говорил мне Боровский. Все эгоисты на одно лицо.

— Учись у меня, — говорила Тамара Владимировна, медленно развязывая пояс у халата, — мне на всю жизнь хватило моей любви к тебе. Я не расплылась. Достаточно, что я любила тебя. И пронесла эту любовь через все свои многочисленные увлечения. Ты знаешь, когда я бывала с другими, то каждый раз представляла, что я с тобой...

Она сбросила халат и легла рядом.

— Это необыкновенно остро, когда отдаешься одному, думая о другом... Скажи, я красива? — спросила она и лизнула меня в губы.

Я посмотрел на ее вздернутый веснушчатый носик и губы, изогнутые в обольстительной улыбке.

— Ты очаровательна.

— Женишься на мне, и для тебя настанут новые времена. У тебя будет все: яхта, много-много денег, личный самолет, Майбах, замок на юге Франции и...

— И рога.

— Когда есть замок и яхта, рога не помеха, — уверенно сказала она. — И потом, нет женщины, которая хотя бы раз не изменила. У тебя будет все, о чем только можно мечтать...

— Искус велик. Что я должен сделать? Ограбить Внешторгбанк? Взорвать исторический музей? Или я должен передать тебе формулу? С Боровским не выгорело, так ты взялась за меня? Или я должен кого-то убить? Вряд ли я смогу...

— Надо будет, — произнесла она с холодной усмешкой, — убьешь. Все зависит от обстоятельств. Настоящий мужчина способен на убийство.

— Вероятно, ты права... Наверно, убью, если твои вооруженные утюгами приятели заставят.

— Ну конечно, Боровский рассказал тебе об Организации... — проговорила она. — Да, они шутить не любят. Вот послушай. У каждого человека есть что-то, что ему дорого. У каждого человека есть своя болевая точка. Стоит на нее хорошенько нажать...

— Моя главная болевая точка — это я сам. Самый близкий мне человек — это Боровский. Жмите на него, пока он не позеленеет, я не возражаю.

— Ты недооцениваешь опасности. Ты как был легкомысленным мальчишкой, так им и остался.

— Ты хоть понимаешь, что это может уничтожить всех без разбора, в том числе и тебя? У вас, как я понял, в этой вашей Организации, нашли приют властолюбцы, которые хотят завоевать весь мир, применив...

— Никто ничего, — перебила она меня, — применять не будет.

— Ты в этом уверена?

— Формула ремедиума им нужна, чтобы устрашать врагов. Это как атомная бомба. Никто никогда ее не применит.

— Скажи это жителям Хиросимы.

— Больше всего их интересуют деньги. С помощью устрашения Организация может стать самой могущественной силой в мире.

— Где находится это ваша Организация?

Тамара Владимировна отвела голову в сторону и почесала переносицу.

— Я и сама точно не знаю. Они все время переезжают.

— Почему их не прикроют? Ведь это же страшные жулики и преступники.

— Если звезды зажигают... значит, кому-нибудь это нужно.

— А тебе-то зачем все это нужно?

— Я мечтаю о сказочном богатстве. Мне тоже нужна крейсерская яхта, да и вилла с голубыми фонтанами не помешает, но лучше всего — это замок с ливрейными слугами, — она сощурила глазки. — Илюша, мы должны действовать сообща, по отдельности нам не выиграть. Тебе надо понять одно: я нужна тебе, ты нужен мне. Я если и получу что-то за то, что тебя уломала, то это будет мизерная сумма, на которую не купит и резиновую лодку, а мне нужна яхта. На меньшее я не согласна. И тебе без меня не обойтись. Без меня тебя надуют: получают от тебя то, что им требуется, а в ответ ты получишь фигу — это в лучшем случае, а в худшем...

— Утюг?

— Если бы... скорее, пулю. Я твой страховой полис. Кроме всего прочего, я желаю тебе добра, и я тебя люблю. Соглашайся, тем более что выхода у тебя нет. Соглашайся, и ты получишь очень много денег. Ты получишь огромные деньги!

— Насколько огромные?

— Купишь себе деревеньку с тысячью крепостных.

— Сейчас нет крепостных.

— Зато есть деревеньки.

Я молчал и пристально смотрел на нее.

— Уж очень долго вы раскачивались, — наконец выдал я.

— Что ты имеешь в виду?

— От Боровского до меня — дистанция огромного размера. Прошло черт знает сколько времени, пока вы решили обратить внимание на меня...

— У нас, вернее, у них были проблемы, у кого их не бывает, — зевнув своим прелестным ярко-красным ртом, сказала она и еще теснее прижалась ко мне. — Илюша, я тебя люблю.

— Прости, — сказал я, — сейчас от меня мало проку.

Я перелез через роскошное женское тело, от которого пахло пьянящим жаром, и направился в ванную. Я пробыл там не менее получаса. Горячая — ледяная, горячая — ледяная, и так раз десять. Побрился, слушая по радио серенаду Шумана в исполнении Савиновой. У меня всегда влажнеют глаза, когда я слышу ее голос. На этот раз не повлажнели.

— Не тяни с решением, они ждать не любят, — сказала Тамара Владимировна, и это было последнее, что я услышал от нее в то утро.

Глава 8

— Илья Ильич, мы опять переписываем отчеты прошлых лет. Топчемся на месте. Обидно.

Костик Паршин. Один из моих заместителей. Еще одна светлая голова. Костик предан науке, как я когда-то. Костик единственный (не считая Боровского, Боровский вне конкуренции, Боровский — это часть меня, не лучшая, правда, но часть), кому я доверяю и кого люблю. Я с Костилом, на «вы». Как, впрочем, и со всеми остальными сотрудниками — независимо от возраста, занимаемой должности и длительности приятельских отношений. Похвальная традиция, которая кое-где еще сохраняется в память о тех благословенных временах, когда в ходу были дуэльные пистолеты, стоячие воротнички и когда даже врага называли «милостивый государь».

У Костики хриловатый бас. О таких голосах говорят — надтреснутый, кажется, звуки выходят не из горла и груди, а из недр древнего музыкального инструмента, вроде домбры. Он великолепно поет. Любит серенады. Ему бы на эстраду — туда, где гремят аплодисменты и льются истеричные слезы, но он избрал иное поприще — куда более прозаичное.

У него на лице неизменно такое выражение, точно он вот-вот рассмеется. Со мной он часто говорит о каких-то общечеловеческих ценностях, принципах, но что это такое, думаю, он и сам точно не знает. Костик невысок, некрасив, плешив. У него толстые выпяченные губы — как у карикатурного дяди Тома. Из-за этого в школе его прозвали «Губой». В институте он увлекся водно-моторным спортом. В Химках вместе с группой сокурсников он восстанавливал парусный ботик. Во время перерыва Костик, рассказывая приятелям анекдот, положил надкусанный бутерброд на штабель досок. И не заметил, как под бутерброд заползла оса. Укус пришелся в нижнюю губу. И без того большая, она распухла, заняв пол-лица. Он стал так безобразен, что от него шараха-

лись. Закономерно, что после этого его и в институте стали звать Губой. Рассказывал он мне все это с беззаботным смехом. Несмотря на уродливую внешность, он имеет успех у женщин. А все потому, что он уверен в себе, напорист, нагл и смел. Женщинам такие нравятся. Он большая умница. И большая скотина. Вроде Боровского, только в смягченном, умеренном варианте. Ему не хватает размаха Боровского. Костик мелковат. Масштабы Костика — это масштабы хорька, примеривающего на себя шкуру волка. Впрочем, со временем, возможно, он разгуляется и раздастся вишь: предпосылки к этому есть.

Костик обожает шутки, не всегда безобидные. Начал он чудить, еще учась в начальных классах. Как-то восьмилетний Костик сидел дома из-за легкого недомогания и развлекался решением арифметических задачек в столбик. Раздался телефонный звонок. Он со вздохом оторвался от увлекательного занятия и подошел к телефону.

— Это справочная стадиона «Динамо»? — услышал он.

— Да, — меланхолично ответил Костик. Надо сказать, что у него уже тогда был бабовитый голос.

— С вами говорит корреспондент газеты «Советский спорт» Зиновий Шаров. Меня интересует, кто входил в первую десятку лучших спринтеров Москвы по результатам 1939 года. У вас есть такие данные?

— Должны быть. Сейчас посмотрю...

И Костик опять принялся за задачки. Через полчаса он вновь взял трубку.

— Имена первых пяти нашли, сейчас будем искать остальных. Подождите...

И опять — к задачкам. Прошло еще полчаса. Он к телефону.

— Вы ошиблись номером, дяденька, — сказал он.

Костик невозмутимо выслушал поток ругательств. Некоторые записал, чтобы всегда иметь про запас.

Когда ему было лет двадцать, он случайно оказался в качестве зрителя на всероссийских соревнованиях по бегу на лыжах. Костик незаметно передвинул контрольные флажки в сторону Москвы-реки и с интересом наблюдал, как знаменитые чемпионы, истощно вопя, кубарем скатываются с крутого берега на лед.

Уже будучи кандидатом медицинских наук, он с приятелем, таким же любителем нетрадиционных шуток, глубокой ночью свинтил вывеску у входа в Министерство сельского хозяйства. Весила эта штукавина не меньше центнера.

— Чисто могильная плита, — смеясь, рассказывал мне Костик. — Пока несли, чуть не надорвались. Прислонили к входной двери квартиры, в которой жила моя будущая жена вместе со своим тогдашним мужем. Она до сих пор не знает, какая сволочь это сделала. Ее первый муж угодил в больницу с двойным переломом лобковой кости. Дело в том, что дверь открывалась внутрь... Кстати, перелом лобковой кости для него оказался роковым: он полностью утратил потенцию. И уже спустя три месяца в эту квартиру на правах новоиспеченного мужа въехал ваш покорный слуга.

Костик поджидал меня в приемной, точа лясы с Любой, моей секретаршей. Костик с ней спит. Это точно. Не надо быть искушенным физиономистом, чтобы понять это. По жестам, взглядам, повороту головы и многому другому, что улавливают мой опыт и моя интуиция, я могу достаточно точно определить, когда они в последний раз предавались радостям любви. Скорее всего, сегодня ранним утром, в каком-нибудь дешевом отеле. На работу ехали в машине Костика, за квартал до входа в институтскую проходную он ее высадил. Все для того, чтобы ничего не узнала ревнивая жена Костика, у которой, вне всякого сомнения, в институте есть доброжелатели, готовые просто так, «из любви к искусству», донести ей об интрижках мужа. В любом случае вечером его ждут оплеухи. Я не одобряю выбора Костика. Я имею в виду и жену, и любовницу. Обе, как сказал бы Боровский, не очень красивы. Но Римма, жена Костика,

обладает одним чрезвычайно важным достоинством, которому Костик в любом случае отдаст предпочтение: она дочь влиятельного лица, ее отец долгие годы занимал пост федерального министра, он и сейчас болтается где-то между средним и высшим эшелонами власти. Костик не так прост, как может показаться. Думаю, женился он не по любви, а по иным, вероятнее всего, меркантильным и карьерным соображениям. Что не делает ему чести. Но не мне его винить, я сам ничем не лучше: был бы у меня столь же влиятельный тесть, я бы загружал его своими проблемами по полной программе и не испытывал бы при этом никаких угрызений совести.

Костик умен, талантлив и обаятелен. Против его открытой, доброй улыбки не устоять. От него так и веет жизнелюбием, здоровьем и добродушием. Ему тридцать два. Самый молодой доктор в институте. Даже я защитился позже.

С тестем, насколько я знаю, у него самые теплые отношения. Бывшему министру нравится, что его нынешний зять занимается делом, а не валяет дурака, как предшествующий, проводивший время не за рабочим столом, а за ломберным, каждый раз проигрываясь в пух. Машину, на которой Костик возит своих любовниц, сановный тесть подарил ему на день рождения. В знак уважения и любви. Уже примерно год по институту бродят слухи, что Костик вот-вот станет заместителем директора института.

Костик обожает пошалить на стороне. По его глубочайшему убеждению, все в этом мире упирается в секс. Его идол — старина Фрейд. И Костик без зазрения совести применяет на практике учение этого шарлатана о роли бессознательного в жизни человека. Он любит цитировать своего кумира, его любимая максима из Фрейда: в основе всех поступков лежат два мотива — желание стать великим и сексуальное влечение.

— Кофе, Илья Ильич? — спрашивает Люба елейным голоском. Глаза сияют. Губы изогнуты, ровный ряд зубов намеренно обнажен. Зубы у нее что надо, это чуть ли не единственное, что есть в ней привлекательного. Улыбается. А ведь нашкодила, как кошка. И при этом, судя по всему, стыда не испытывает. Правильно, так и надо. Грешить следует широкомасштабно и часто, чтобы не потерять навыка и сноровки. За ночь она даже похорошела. Ночь пошла ей на пользу. Ее мужу бы радоваться. А он наверняка страдает от ревности и проговаривает про себя слова, которыми встретит жену. Интересно, как она объяснит ему свое отсутствие сегодняшней ночью? Задержалась у тетки или подружки? И все это невинно-равнодушным тоном, от которого за версту веет ложью. Но он поверит, потому что мы всегда верим тому, во что ради собственного спокойствия хотим верить.

Я с удовольствием смотрю на нее. Ее глаза говорят: как же приятен, опасен и сладостен грех! Как же хочется хотя бы на одну ночь вырваться из объятий обыденности! Если бы я мог, я бы сказал ей: девочка, шуруй, пока у тебя свербит в лукошке и есть порох в пороховнице, шуруй дальше, без остановки, не зная устали! Женский век короток. Ах, как короток! Не заметишь, как состаришься, и в будущее вместо тебя вкатит другая любительница опасных связей.

Мы с Костиком проходим в кабинет и садимся друг против друга.

Через минуту в кабинет вливается Люба с подносом. На нем кофейник, две фарфоровые чашечки и хрустальная вазочка с печеньем, обсыпанным толстым слоем сахара, чего я терпеть не могу. Вот до чего дошло. Знает, что ее возлюбленный сладкоежка. Надо сказать ему, чтобы был с ней поосторожней. Так просто, когда придет время, а оно рано или поздно придет, ему от нее не отделаться — уж я-то знаю. Но он слишком безалаберен, самонадеян и беззаботен, чтобы предвидеть неизбежные сложности, он полагает, что ему всегда все будет сходить с рук.

— Илья Ильич, мы опять переписываем отчеты прошлых лет, — повторяет он, прихлебывая из чашки.

— И впредь будем переписывать. Это всех устраивает. Что еще?

— Вам не снятся мертвецы, Илья Ильич? — неожиданно спрашивает он. Это его манера. Идиотский вопрос. Наверно, у Боровского научился. Я, не скрывая, морщусь. Но я не удивляюсь, я привык к неожиданным поворотам в ходе его рассуждений о смысле жизни и прочей чепухе. — А вот мне снятся. Я, понимая, что сплю, всматриваюсь в лица умерших, вижу каждую черточку, каждую морщинку. Порой они мне кажутся куда более реальными, чем были при жизни. Как вы думаете, мертвецы, оживая в наших снах, может, и в самом деле когда-нибудь оживут? Проснешься, а рядом с тобой на кровати сидит человек из сна, например Наполеон Бонапарт. Сидит и изумленно хлопает ресницами. Как вы полагаете, это возможно?

— Все возможно. Хотя почему бы не возродиться какому-нибудь лапотнику или мелкому воришке? Но нет, вам этого мало, вам подавай Наполеона. Но вы сами знаете, кому эти ваши Наполеоны снятся. А вы никогда не думали, что можете не проснуться и остаться с вашими мертвецами навеки?

— Думал, но не могу же я заказывать сон, как свиную отбивную в ресторане. Сон находится вне моей волевой компетенции. Что приснится, то приснится. Каждое утро, вы не поверите, я просматриваю свой гороскоп. И поступаю наоборот. Вот это мне удается.

— Не ставьте перед собой слишком сложных задач. И не придавайте большого значения гороскопам.

— И еще. Я мечтаю о рае. В котором царила бы справедливость и соблюдались общечеловеческие ценности и принципы...

— Какие еще, к черту, принципы?

— Принципы... ну, такие... которые общечеловеческие. Любовь, верность идеалам, доброта, традиции, красота и все такое. Принципы, где есть место понятиям чести, благородства, милости, так сказать, к падшим...

— Мечтайте себе на здоровье. Но учтите, у каждого — свой рай.

— Согласен. И опирается он на наши представления о прошлом, настоящем и будущем.

По утрам мы с Костиком нередко разминаем свои мозги псевдоинтеллектуальной трепотней. Сегодня Костик хочет втянуть меня в философские дебаты. Начитался, наверно, Мак-Таггарта или какого-нибудь эзотерического гуру.

— Человек состоит из прошлого, — говорит Костик, подтверждая мои предположения. — Целиком из прошлого!

— Целиком? Но я живу сейчас и здесь. Я живу в настоящем времени... Да и вы — к сожалению.

Костик мотает головой, как собака, вылезшая из воды.

— Настоящего вообще не существует! — делает он открытие. — О будущем, Илья Ильич, и речи нет. Настоящего нет, его выдумали. Если оно и есть, оно настолько эфемерно, что его не замечаешь. Вы только хотите пощупать его руками, а оно тает, тает, как... льдинка на ладони. Я еще не успел произнести эти слова, воровски выхваченные мною из будущего, как они, скользнув мимо наших ушей, уже стали достоянием истории. То есть ухнули в прошлое.

— Кстати, о прошлом, — перебил его я. — Скажите, Костик, с кем вы провели ночь? Он с укоризной посмотрел на меня.

— Разве это имеет отношение к предмету нашей беседы?

— Костик, вы еще долго будете мучить меня своей болтовней?

— Я закругляюсь. Эйнштейн в письме-соболезновании в связи со смертью друга писал: «Сейчас он ушел из этого странного мира немного раньше меня. Это ничего не означает. Различие между прошлым, настоящим и будущим не более чем иллюзия».

— И великие подчас любили подшутить над доверчивыми простофилями. Эйнштейн обожал ставить людей в дурацкое положение. А вы, Костик, еще раз доказали, что у вас отличная память, но вы отрываете меня от работы. Да еще и выпили весь мой кофе...

Костик поставил чашку на столик.

— Ходят слухи, что... — начал он осторожно, — якобы там, в высших сферах... — Костик возвел глаза к потолку, — принято решение о выделении Центру астрономической суммы на исследования, чуть ли не миллиард, так говорят...

— Прекрасно. Миллиард — это как раз то, чего мне всегда не хватало.

— Рано радуетесь. Там, где деньги, там действуют финансисты, то есть те, кто знает откуда, как и куда, а какие мы с вами финансисты, нам бы только животы крысам пороть...

— Но откуда эти сведения?

— От вышестоящего родственника, отца Риммы. Я случайно подслушал. Оказался, так сказать, в нужное время в нужном месте, когда меня там не ждали...

Я подошел к окну. Мне было нехорошо. Приложил ладонь к влажному лбу, похоже, у меня жар, да и голова побаливает.

Посреди институтского двора две женщины в синих бушлатах поливали из шланга клумбу с астрами. Я вспомнил набережную в Балаклаве, продавца разноцветных цветов без запаха, Петра Терновского, его слова о докторе Радлове и едва сдержался, чтобы не застонать.

Костик подошел и стал рядом.

— Если эти сведения подтвердятся, вас отстранят от руководства Центром. Пришлют вместо вас какого-нибудь бурбона, специалиста по стрижке купонов, — хмуро сказал он. — Турнут вас, Илья Ильич, как пить дать, турнут.

— Это еще вилами на воде... пусть попробуют обойтись без нас, профессиональных фармакологов.

— Вот уж не думал, что вы столь наивны, Илья Ильич. Им нужны не профессионалы, а исполнители. А таких везде и всегда — море разлитое. Вот уж кто не руководствуется никакими принципами.

Глава 9

Прошло еще два месяца. Тамара Владимировна молчит. Напугала яхтой, миллионами, деревней и испарилась. Ничего понять не могу. Может, у Организации опять возникли проблемы?

Сведения Костики подтвердились. Средства выделены. Правда, не миллиард, а значительно меньше. Может, это меня и спасло. Никто меня не понизил, и никого не прислали для укрепления наших рядов. Более того, мне и моим заместителям были существенно повышены оклады. Был издан министерский приказ об особом статусе Центра, который, по-прежнему подчиняясь директору института, обретал некоторую самостоятельность. В основном это касалось финансовой деятельности Центра. Из министерства был прислан бухгалтер. А с ним — пятеро его помощников. С бухгалтером я был знаком. Прежде он работал то ли в плановом, то ли в финансовом отделе института, и нередко я видел его выходящим из кабинета Боровского. Некоторое время назад он был переведен на работу в министерство. И теперь вернулся. Лысоватый толстяк средних лет. Похож на бегемота. Бывают такие лица, заставляющие задуматься, а все ли люди произошли от обезьян. Звали его Вениамином Ивановичем Покорным. Была у него отвратительная привычка при разговоре дышать собеседнику в лицо.

Я вызвал его к себе. Он явился на следующий день.

— Простите, дорогой Илья Ильич. Совсем замотался, заморился, завинтился, закрутился, — трещал он, пряча глаза.

Я молчал и смотрел на него. Он невероятно растолстел, облысел и еще больше стал походить на бегемота. На запястье часы с массивным золотым браслетом. Туфли из кожи аллигатора. Галстук от «Валентина». Булавка в виде круга, и в нем буква «А». Анархист? Это что, мода такая — поступать в анархисты? Или пижонство стареющего ловеласа? Ничего и никого не боятся, мерзавцы. Живут открыто, воруют открыто.

— Дело новое, дорогой Илья Ильич, работы невпроворот... еще раз простите. Даю слово, это не повторится, — сказал он и прижал руку к жирной груди.

— К концу недели вы подадите мне маленькую справочку о том что да как...

— А зачем тянуть-то, дорогой Илья Ильич. Я вам сейчас все на пальцах объясню...

— У вас что, плохо со слухом? — повысил я голос. — Я же сказал, к концу недели. А точнее, в пятницу, ровно в два часа. Здесь, в этом кабинете. Вы свободны. И вот еще что. Попрошу впредь обойтись без «дорогой».

Но в пятницу мне сказали, что Покорный был вызван в министерство и появится на своем рабочем месте только в понедельник, может даже, и в среду или четверг.

Я расстроился. Позвонить, что ли, Носову, начальнику финансового управления министерства, пожаловаться на Покорного? Но Костик меня остудил.

— Носов скажет: какого черта вы мне звоните, милейший Илья Ильич, он же ваш подчиненный, вот вы с ним сами и разбирайтесь.

— Костик, идите и опечатайте кабинет Покорного!

— У меня нет печати.

— Вот вам... — сказал я, извлекая из ящика медицинский молоточек, — пойдите и заколотите кабинет Покорного.

— У него нет кабинета, я ему и его помощникам, чтобы сделать им приятное, выделил комнату рядом с туалетом.

— Так заколотите комнату!

— Вместе с помощниками?!

— А почему бы и нет?

— Я не могу.

— Почему?

— Совесть не позволяет.

— Костик, выполняйте приказ! Идет война принципов, тут не до церемоний!

— Молоток, Илья Ильич, не по моей части, вот скальпель — другое дело.

— Предлагаете его зарезать?

— Только прикажите! Будь моя воля, я бы Покорного за саботаж и неповиновение начальству судил по законам военного времени и приговорил к смертной казни. Повесить его, как собаку, в институтском дворе у клумбы с астрами в назидание всем остальным.

Костик поднялся и, воинственно поддергивая брюки, решительно направился к двери.

— Вы куда?

— Мастерить виселицу.

— А если серьезно?

— Пойду побеседую с его помощниками. Надо наладить с ними отношения. Может, что и выведаю. Может, выделю им комнату побольше. В крайнем случае применю силу, — он выкатил грудь и потряс в воздухе кулаком.

Я окинул взглядом фигуру своего заместителя. Забыл сказать, Костик, несмотря на кажущуюся неказистость, даже плюгавость, физически очень силен, однажды при мне

он продемонстрировал это в виварии, с невиданной легкостью в одиночку передвинув кованую клетку весом в полтонны ближе к окну.

— Только без рукоприкладства, Костик! — я не мог удержаться от смеха. — Знаю я вас, вы всем, для порядка, готовы фонари под глазами ставить — и правому и виноватому.

— Ну, всем не всем, а кое-кому не мешало бы. Эх, турнут нас, Илья Ильич, как пить дать, турнут, попомните мое слово!

Я закусил губу и решил до поры до времени ни во что не вмешиваться. Если буду артачиться, чинуши меня без соли сожрут. Придется затаиться. Буду спокойно наблюдать за развитием событий из-под коряги. Они хитры, но и мы не лыком шиты. Тут у меня с такой силой разболелась голова, что пришлось принять анальгетик.

Когда Самсонов очередной раз вызвал меня к себе и, капризничая, потребовал доложить о финансовой деятельности Центра, я невинным тоном предложил ему «прощупать» Покорного.

— Вы сами знаете, — сказал я, — наши высокие руководители сделали все, чтобы дальше прихожей мы носа не совали.

— Где этот ваш Покорный? — раздраженно спросил он.

— Он неуловим.

— Так поймайте его!

— Он не выходит на работу.

— Накажите! Лишите премии!

— Руки у меня, да и у вас, коротки, уж простите, Дмитрий Иванович. Не по Сеньке шапка. Покорный — креатура министерства.

И тут Самсонов повел себя странно. Он поднялся и подошел ко мне.

— Нам надо держаться вместе, — сказал он проникновенно и насильно пожал мне руку.

Похоже, ряды его министерских сподвижников редуют. Если бы это было не так, стал бы он так витийствовать.

Весь вечер у меня болела голова, таблетки не помогали. Если дело пойдет так и дальше, придется обратиться к доктору Радлову.

Костик побеседовал с помощниками Покорного. В результате четверо из них во все перестали ходить на работу, а пятого, вернее, пятую Костик пригласил в пиццерию.

Помощница оказалась пожилой теткой с кривыми ногами. Да поможет тебе Бог, Костик!

* * *

По местной связи, оставшейся чуть ли не со сталинских времен, мне позвонил Потапов и очень вежливо попросил зайти. Что-то не припомню, чтобы заместитель директора по режиму приглашал меня к себе.

Еще утром я заметил на территории института, у входа в административный корпус, припаркованный БМВ. Черный, с мигалкой. Водитель окинул меня мутным совиным взглядом. Знаю я эти взгляды. Как-то раз в переулке, недалеко от гостиницы «Балчуг», я чуть было не угодил под колеса большого черного лимузина. Водитель, он был без хозяина, остановился, опустил боковое стекло, посмотрел на меня вот такими же совиными глазами и со словами: «У-у, с... потрох!», плюнул в мою сторону. Он был на вершине безнаказанности, этот обнаглевший лакей, а я для него — тля, насекомое, ничтожество, которое он бы с удовольствием раздавил, если бы не спешил к своему господину.

На рабочем столе заместителя директора рядом с настольной лампой под зеленым абажуром, перекидным календарем и малахитовым письменным прибором с миниатюрным портретом вождя всех времен и народов лежала пухлая тетрадь. Я сразу понял, что тетрабочка эта из того самого сейфа, ну, из того, что похож на стоймя поставленный гроб. Но главным было не это. В дальнем углу кабинета, у зарешеченного окна, закинув ногу на ногу, с индифферентным видом сидел в кресле и смотрел вверх моей головы пожилой седовласый мужчина. Свернутой в трубочку газетой он размеренно постукивал себя по колену.

— Я имею право открывать любые замки... Я имею на это право, это находится в сфере моих должностных обязанностей, — поглядывая на незнакомца, петушиным голосом твердил Потапов. — Это я на случай, если у вас, уважаемый господин Сапега, возникнут вопросы по поводу законности... Да, я имею полное право! — Он опять посмотрел на незнакомца и взял тетрадь в руки. Незнакомец искусственно зевнул, отложил газету в сторону и наконец-то посмотрел на меня.

— Генерал Рыбин, Сергей Сергеевич Рыбин, — представился он. И не поворачиваясь, Потапову: — Нам надо поговорить... с товарищем... накоротке... А тетрабочку-то оставьте.

Потапов понимающе склонил голову набок и, быстро-быстро перебирая ногами, вылетел из кабинета.

Глава 10

Прежде чем нанести визит доктору Радлову, я прошел тест на томографе. «Изменения есть, но они практически есть у каждого», — туманно сказали мне. И выдали заключение, которое я должен был передать специалистам по заболеваниям головного мозга: неврологам или, не дай бог, нейрохирургам.

Я мог бы обратиться к знакомым медикам, таких у меня пруд пруди. Но я не стал этого делать: люблю все новое, люблю эксперименты. И по электронной почте отправил сканированное заключение в клинику доктора Радлова. Ответ с указанием назначенного мне времени пришел через минуту. Похвальная оперативность.

Я выехал пораньше, чтобы по пути в клинику навестить человека — единственного из оставшихся в живых родственника, вернее, родственницу. А заодно найти безлюдное место, например березовую рощу с залитой солнцем лужайкой, а лучше вековой сосновый бор, где можно было бы наедине с собой обдумать все, что со мной приключилось в последнее время. Для серьезных раздумий необходим покой. В городе, как бы ни затемнялись окна тяжелыми шторами и ни затыкались уши ватой, такого покоя не обрести. Все равно тебе не отделаться от мысли, что рядом с тобой бурлит огромный город, от которого нет спасения и в котором живет уйма недоброжелателей, только и мечтающих, как бы подстроить тебе какую-нибудь пакость.

На выезде из Москвы я заметил, что за мной увязался темно-зеленый «гелендваген».

Примерно через час я наугад съехал с шоссе и по хорошо укатанной проселочной дороге проехал километров десять. «Гелендваген» отстал.

Я быстро нашел как раз то, что надо, — сосновый бор без признаков присутствия грибников и праздношатающихся дачников.

Я лег навзничь на упругий моховой наст, покрытый порыжелой хвоей. Было мягко, удобно. Пахло грибами и теплой сыростью. Я глубоко вздохнул и закрыл глаза. Если бы меня спросили в этот момент, где бы я хотел умереть, я бы без раздумий выбрал это место.

Муравей заполз за воротник рубашки. Потом еще один, его приятель. Щекотно и приятно. И покойно. Легкий ветерок оведал лицо. Я открыл глаза, уже зная, что уви-

жу. Далекие кроны сосен словно летели в вышине в окружении облаков, и я летел вместе с ними. Мигнуло и тут же исчезло ощущение беспредельного неземного счастья. Мне вдруг стало страшно. Мне показалось, что небо не надо мной, а — подо мной. И что я, спиной прилепившись к земному шару, нависаю над бездной. Голова закружилась и заболела. Опершись руками о землю, я сел, подтянул ноги к животу. Страх, боль, смешавшись с чувством покоя, произвели неожиданный эффект: мне захотелось плакать.

Небо потемнело. Налетел ветер. Сразу похолодало. Через минуту на землю обрушилась гроза с сильнейшим ливнем.

Все произошло так быстро, что едва успел добежать до машины. Очень близко, над самой головой, что-то оглушительно рвалось, трещало, словно кто-то стальными когтями раздирает в клочья черный воздух; лес, поляна и небо резко вспыхивали бездушным ледяным светом.

Дорога размокла, и я с трудом вывел машину на шоссе.

* * *

Я узнал ее сразу, хотя, на мой взгляд, она несколько не похожа ни на меня, ни на свою мать. Тогда на кого?.. Мы не виделись лет пять. Лиза подросла, правда, это было не очень заметно: в инвалидной коляске все кажутся ниже ростом. Сколько ей лет? Должно быть, десять. Или двенадцать? Черт бы меня побрал, я, как Боровский, помню не то, что надо, и не помню того, что надо. О чем мне с ней говорить? Не сказки же рассказывать. Я зову ее Лиза. А по документам она Леда. Назвали ее так по настоянию моей бывшей жены. Идиотка — это я о жене. Если кому и подошло бы это имя, так это ей, поскольку она спаривалась с кем ни попадя: в ее коллекции не было только лебедя.

Накануне я позвонил директрисе, и меня ждали. Пансионат находился в бывшей дворянской усадьбе с огромным парком, старинными аллеями, мрачной доминой с колоннами и прудом с камышовыми зарослями в полтора человеческого роста.

Здание поражало размерами. Колонны покрыты известкой, стены — обожженный кирпич. Поэтому издали, да и не только издали, дом похож на склеп, возведенный с дальним прицелом — в расчете на неизбежное пополнение, так сказать, на вырост. Такие чудовищные сооружения, только меньших размеров, я видел на городском кладбище Реколета в Буэнос-Айресе.

Пожухлая листва, не просохшая после грозы, пахла дорогим табаком и шоколадом. Здесь все дышало миром и покоем. Миром и кладбищенским покоем.

Два часа я катал Лизу по усеянному красным песком дорожкам, старательно обходя лужи, в которых дрожали бледное небо и кроны деревьев. Казалось, тоска, обретя материальность, накрыла все живое и неживое.

Навстречу нам попадались такие же веселенькие процессии: нянечки катали коротко стриженных детей с бледными пухлыми лицами. Никто ни с кем не здоровался.

Мы несколько раз обогнули здание. Со стороны заросшего сада оно выглядело еще гнуснее. Пять рядов узеньких окон, тонущих в глубоких стальных проемах, ровная кладка кирпичных блоков и всего одна дверь под навесом из кровельного железа. Ни дать ни взять — тюрьма.

За все это время Лиза не проронила ни слова. Так мне и надо. Хотя я ни в чем перед ней не виноват. Автомобильная авария. Моя бывшая жена погибла сразу. Лиза выжила чудом. Но повредила позвоночник. Теперь коляска. На всю оставшуюся жизнь. Это я ее пристроил, чтобы не мешалась, сюда, в эту сумрачную обитель с колоннами. У меня была своя жизнь, у нее — своя: она не вписывалась в мои жизненные планы. Я годами о ней не вспоминал. Угрызений совести, как все эгоисты, я не испытывал.

Пока мы колесили по парку, два часа тянулись, как будто у Времени вышел из строя часовой механизм. Лизина белобрысая, стриженная под мальчика головка так ни разу и не повернулась ко мне. Зачем их здесь так коротко стригут? Чтобы не тратить время на причесывание и реже мыть голову? Чтобы вся эта обитель печали еще больше походила на приют умалишенных или на тюрьму? Господи, а какие же худые у нее плечи! Сухие кисти, сжатые в бескровные кулачки. Тонкая, неестественно белая шея. Как ей здесь живется? Какие кошмары терзают ее по ночам, когда она остается наедине с собой и своими недетскими размышлениями о вечности и смерти? И что все мои надуманные страдания в сравнении с ее беспросветным одиночеством, беспомощностью и страхами?

С ее матерью все было очень и очень непросто. Женился я на ней сдуру. Еще студентом. Когда-то я принимал тяжелое чувство к ней за любовь. На самом деле это была ревность — бешеная, сводящая с ума. Она выворачивала меня наизнанку. До меня доходили слухи, что она спит черт знает с кем. Это оскорбляло мое самолюбие. Если бы она изменяла мне со студентами, инженерами или врачами, я бы это как-то вытерпел и постарался принять, и мне бы не было так обидно: все-таки это люди моего или почти моего круга. Но она изменяла мне со всяким отребьем: то с депутатом Госдумы, то с репортером глянцевого журнала, то со звездой шоу-бизнеса, то с карточным шулером, то со знаменитым астрологом, то с каким-то целителем-травоедом. Я сам не святой. Но я был куда более осмотрителен при подборе партнерш и не опускался так низко, я старался общаться с интеллигентными девушками, даже среди проституток попадались такие.

Я попытался, придушив ревность, как-то наладить семейную жизнь. Я посчитал, что для начала следовало разобраться в мотивах поведения моей жены: все-таки я какой-никакой ученый, и грех было не принимать во внимание научные методы исследования. Что тянет ее на сторону? Какого черта ей все это нужно? Я прямо спросил ее об этом. Лучше я бы этого не делал. Она просто все отрицала. «Никаких мужиков у меня нет. Я живу с тобой и больше ни с кем». Тогда я принялся приставать к ней с известного рода нежностями чуть ли не еженощно. Чтобы мои сексуальные наскоки выглядели убедительней, я проштудировал множество специальной литературы, посвященной искусству плотской любви. Дошел до того, что разыскал статьи философов начала прошлого века, прочитав в один присест все, что писали об Эросе Бердяев, Мережковский, Гиппиус, Розанов и многие другие. Я полагал, что, применив все это на деле, смогу довести ее до экстатических припадков и тем самым отвращу от измен, принудив сосредоточиться на одном партнере, то есть на мне. Обогащенный сексуальной теорией, я на практике поднимался до таких высот, что у меня у самого дух захватывало. Это было как покорение Эвереста. Но увы, это ни к чему не приводило.

В какой-то момент я понял, что был бы абсолютно счастлив, если бы она умерла. Я был уверен, что ее смерть пошла бы и ей, и мне на пользу. Она бы перестала попусту коптить небо, а я бы быстренько угомонился, и муки ревности остались бы в прошлом: нельзя же испытывать чувство ревности к покойнице, думал я. Но она была крепкой особью, и не было никаких сомнений, что она, куролеса и дуря, дотянет до преклонных лет. Я подумал: вот было бы здорово, если бы ее укокошили. Я бы и сам с удовольствием это проделал, если бы имел опыт в подобных делах и не боялся возмездия. К счастью, обошлось без моего участия, и мне не пришлось марать свою совесть грехом убийства.

Прошли годы. Моя бывшая жена давно лежит в земле, ее грешное и когда-то божественно прекрасное тело превратилось в прах, но странное дело — чувство ревности, игнорируя мои надежды и прогнозы, по-прежнему меня изводит. Я продолжаю

ее ревновать, словно она жива-живехонька и развлекается с очередным любовником в соседней комнате. Порой я просыпаюсь от ощущения, что она находится рядом и чего-то ждет. Уже многие годы она моя непреходящая боль. С этой сладкой мучительной болью я живу и с этой болью сойду в могилу. Моя жена — это царапающее сердце воспоминание и наваждение. И отличный повод обратиться к психиатрам.

Я катал Лизу по территории пансионата, пока не настало время обеда. Я поцеловал ее на прощание. Она несмело ответила мне. Губы у нее были сухие и теплые. Что-то шевельнулось в моей грязноватой душе.

— Я виноват перед тобой... — выдал я из себя.

— Я не хочу так жить, — прошептала она.

У меня пальцы музыканта. Как у моего отца и деда. У Лизы пальцы как сосиски. Такие были у моей жены, дочери свинопаса и доярки. Я ничего не имею против свинопасов и доярок. Просто у нее были такие пальцы.

Я снял со своего мизинца фамильное кольцо: это все, кроме воспоминаний, что мне досталось от моих давно почивших родственников. Массивное кольцо, вернее, золотой перстень с гривастым платиновым львом. Кольцо дорогое, редкое. Я несколько раз, когда у меня возникали трения с кредиторами, порывался его продать, но что-то в последний момент удерживало меня. Я осторожно разжал Лизин кулачок и насадил ей на безымянный палец перстень со львом. Насадил с трудом. Снять его удастся только вместе с пальцем. Типун мне на язык.

Молоденькая сестричка переняла у меня коляску. Лиза наконец-то посмотрела на меня. Ни упрека, ни покрасневших глаз. Взгляд звереныша. Я стоял и смотрел, как коляску с моей дочерью везут по прямой, как стрела, аллее в сторону дома с колоннами.

«Я не хочу так жить».

В груди у меня, где-то глубоко-глубоко, натянулась струна. Вот-вот лопнет.

Директриса при прощании сказала, что появились основания рассчитывать на выздоровление. Лизу недавно осматривал профессор Бутурлин, светило в области лечения травм спинного мозга. Он нашел несомненные признаки улучшения. Оказывается, все не так уж и плохо. Новые обследования показали, что с убийственным диагнозом когда-то поспешили. Поэтому было принято решение изменить лечебную методику, направив ее в сторону активного восстановления двигательных функций. Бутурлин уверен, что через год-два Лиза не только сможет ходить, но и танцевать. То есть вернется к нормальной жизни. Лизе об этом, разумеется, сказали. Но она отнеслась к этому с полнейшим равнодушием.

И тут я подумал: насколько же ее душу изранило горе, если, даже зная о новом, оптимистичном, твердо обнадеживающем диагнозе, она все равно сказала мне: «Я не хочу так жить»?

Вернулась сестричка. Она взялась меня проводить. Лужи высохли, но песок, мокрый после дождя, поскрипывал под ногами. Мы медленно шли по дорожке.

Мне хотелось о многом ее расспросить, но я не знал, с чего начать. Пусть лучше сама начнет, коль уж она за мной увязалась. Но она молчала.

Идя рядом с ней, я имел возможность незаметно осмотреть ее. Белоснежный халатик, подогнанный по фигуре, изящные туфельки на низком каблучке, рукава халата подвернуты, открытые по локоть руки безупречны по форме. Я поймал себя на том, что мне стало стыдно. Она была не из тех, кого можно так рассматривать.

Я покопался в бумажнике и протянул ей свою визитку.

— Если что... звоните.

— А что здесь может произойти... — сухо сказала она, вертя визитку в руках.

Я остановился и повернулся к ней лицом.

— Вы сюда больше никогда не приедете, — она резко вскинула голову, светло-русые волосы волнами взметнулись; солнечный луч, выстреливший из разрыва в облаках, пронзил этот водопад волос и ударил мне в лицо. На миг я ослеп.

— И все-таки позвоните мне... — сказал я. У меня вдруг пересохло в горле. — Или... я сам вам позвоню. Только я не знаю вашего имени...

Она изучающе и в то же время доверчиво посмотрела на меня. Глаза серебристо-серые в алмазных искорках-звездочках. Бесконечно грустные.

— Саша, — она тихо и легко засмеялась. А мне показалось, что в облаках над нами зазвонили серебряные колокольчики.

Помнится, Тамара Владимировна говорила мне, что у каждого человека есть своя болевая точка. Кажется, эта точка у меня появилась. А может, и две.

Я выехал на трассу. И вновь в зеркальце заднего вида замаячил зеленый «гелендваген». Не поставить ли мне в известность генерала Рыбина?

* * *

Клиника располагалась в дубовой роще, красивом месте на подъезде к Серпухову. К клинике вело отличное шоссе. Я припарковал машину на стоянке для пациентов.

Двухэтажная коробка. Бетон и стекло. Конструктивизм больничного типа. Частная клиника для пациентов, у которых есть проблемы с головой и нет проблем с личностью. У дверей меня встретила женщина, очень похожая на гусыню. Гусыня провела меня на второй этаж, оставила в приемной и, ни слова не говоря, удалилась. Клиника была пуста, словно вымерла или еще не открывалась. Ни звука, ни ветерка, хотя окно, смотрящее в темный лес, было распахнуто настежь. В глубине леса мой зоркий глаз подметил странное сооружение, формой и размерами напоминающее дот времен Второй мировой войны.

В приемной я плюхнулся в кресло и принялся листать популярный медицинский журнал. «Певица с уникальным сопрано, — читал я, — рассказала о своем голосе и умении быть счастливой». Экое диво! И умения никакого не надо, коли у тебя такое волшебное сопрано!

«Как ежедневно сохранять дружелюбность и обходить острые углы», — читал я дальше. Валерьянку стаканами — и будете без потерь обходить любые углы. Господи, кто пишет всю эту галиматью? А ведь люди за это деньги платят.

«Киберхондрия — новое тревожное расстройство. Киберхондрия — это постановка самому себе диагноза как результат ползания по Интернету. Распространенная ныне мягкая разновидность сумасшествия». И я углубился в чтение статьи. Когда добрался до середины, меня пригласили в кабинет. Профессор Радлов, очень полный бородастый блондин, производил бы приятное впечатление, если бы его халат не был заляпан разноцветными пятнами, а в бороде не застряла яичная скорлупа. Не поздоровавшись, он, скребя бороду ногтями и словно продолжая давно начатый разговор, сказал:

— Вы же знаете, как это бывает... Вы беседуете с человеком, обсуждаете с ним разные различия, от политики до спорта, от литературы до музыки, от полетов на Луну до секса... короче, говорите с ним как с нормальным человеком, не замечая, что ваш собеседник давно сошел с ума, — тут он печально улыбнулся. — С вами такое случалось?

— И не раз.

— Сколько вы весите?

— Под сто.

— Надо следить за весом, голубчик. А рост?

— Метр девяносто два.

— Ого! На целый сантиметр выше меня, — огорчился он. — Впрочем, это не важно. Вас ждет прекрасное будущее, — он, прищурившись, посмотрел на меня, — вы проживете долго. Но с каждым годом вы будете уменьшаться на сантиметр. Кажется, ничего страшного. Однако годам к восьмидесяти вы превратитесь в карлика. Как вам это понравится?

— Весьма оптимистично.

— И я так думаю... Да... Вернемся к нашим, вернее, к вашим баранам. Томография показала, что у вас... м-да... томограф указал на незначительные изменения в правой лобной доле.

— Что это значит?

Он снял очки, поплевал на стекла и, протирая их полый халата, спросил:

— Футбол любите? Сами в детстве играли?

— Разумеется.

— Ну вот, видите. Значит, били маковкой по мячу. Удар маковкой, и... ррраз! Извольте, разрыв сосудов головного мозга на клеточном уровне. Клетки восстанавливаются медленно. Или не восстанавливаются вовсе. Все это неизбежно ведет к депрессиям, даже к сумасшествию. Или — к патологии интеллекта, то есть к слабоумию. Посмотрите на спортсменов. Много вы видели среди них интеллектуалов? То-то и оно. Конечно, кто бы спорил, бить головой по мячу приятно: на то ты и футболист, чтобы все там встряхивать. Я и сам игрывал в молодости, — он наконец выковырял скорлупу из бороды и, поднеся ее к глазам, принялся с удивлением ее рассматривать. — Да, игрывал... Я дам вам лекарство, проверял на себе, — он подошел к застекленному шкафчику, снял с полки пузырек с ярко-зеленой жидкостью. — По шесть капель три раза в день. До еды. Повторяю — до еды! Не перепутайте! До еды!

— Я почти ничего не ем, доктор.

— Тогда — после. В общем, это не так уж и важно... — он рассеянно махнул рукой. — А теперь я прочту вам сверхкороткую лекцию. Когда у больных затронута эта зона, у них словно отключается внутренний ограничитель, препятствующий употреблению нецензурных слов. Часто материтесь?

— Я вообще не матерюсь.

— Не удивлюсь, если скоро начнете.

Он пододвинул стул ближе ко мне.

— Обхватите себя руками и смотрите, стараясь не мигать, прямо мне в глаза.

Я уставился в увеличенные линзами глаза Радлова. До меня долетал, как сквозь вату, его монотонный голос:

— Меньше думать надо, меньше думать, меньше думать, тогда меньше шансов сойти с ума. Меньше думать... Не мигайте! Вообще старайтесь не думать! Ни о чем! Кто в прежние времена были пациентами психиатрических клиник?

— Наверно, мечтатели.

— Не только. Кроме мечтателей, еще и те, кто без меры напрягал свой мозговой аппарат, то есть всякие балаболки, попусту бременящие землю... интеллигенты, — Радлов презрительно скривил губы, — ученые там разные, наш брат врач, философы, поэты, учителя, шахматисты. И это закономерно. Смотрите мне в глаза! Ну что ж, глаза как глаза... Можете расслабиться... Вывод: чем больше думаешь, тем скорее загремишь в психушку. Мозг от раздумий разжигается. Это аксиома. Это уже так самим Богом устроено. Да, таков уже неизъяснимый закон судеб: умный человек либо пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси. Спокон веку психиатрическая клиника для слишком часто и помногу думающего индивидуума что дом родной. Статистика говорит, что в последние годы клиники стали пополняться молодыми людьми,

мечтающими о скорой смерти. Что ж, мечтать не запретишь. На мой взгляд, в мечтах о смерти нет ничего дурного.

— Кроме того, — он сердито посмотрел на меня, — если лобные доли повреждены, у больного появляются мелкая семенящая походка и согбенная поза, приводящая в конце концов к горбатости. Пройдитесь немного.

Я машинально встал и сделал несколько шагов по направлению к двери. Мне уже было ясно, что по милости Терновского я нарвался на помешанного и напрасно потратил время на дорогу и ожидание в приемной. Радлов внимательно следил за мной.

— Ну что ж, пока не семените. И горба нет, — опять огорчился он. — Но со временем, надеюсь...

Я взялся за дверную ручку.

— Спасибо, доктор. Вы меня очень обнадежили. Можно даже сказать, приободрили.

— Куда же вы?

— Пойду обзаводиться.

— Обзаводиться? И чем же?..

— Семенящей походкой и горбом.

— Отличная мысль, коллега, отличная! И не забудьте... Касса внизу, рядом с туалетами. За визит... и за лекцию с вас пятьдесят тысяч. М-да... По шесть капель три раза в день. До еды. Повторяю: до еды, до еды, до еды! Это очень важно! Впрочем, можете и после. Это не имеет никакого значения. Главное — ни о чем не думайте!

Внизу, возле кассы, меня ждала гусыня. Я погрозил ей кулаком и прошел мимо.

Я ехал в Москву и грязно ругался. Ну вот, я уже и матерюсь. Осталось обзавестись семенящей походкой и горбом. Ну, за этим дело не станет, если верить доктору Радлову. Кроме горба и семенящей походки, придется обзавестись еще и записной книжкой для учета сумасшедших, с которыми меня сводит судьба все чаще и чаще.

Я думал о Пьере Терновском. Что мне с ним сделать? Если встречу, набью ему морду, решил я.

Мне вспомнилось его мимолетное замешательство, когда он интересовался, какого цвета машина, сбившая меня на парижском перекрестке, и запомнил ли я лицо водителя.

До сих пор не могу понять, что заставило меня резко развернуться и поехать назад. «Гелендваген» проворонил мой неожиданный маневр и отстал.

К домику, похожему на дот времен Второй мировой войны, я подъехал со стороны леса.

Тихонько напевая и вертя на пальце связку ключей, я обошел строение со всех сторон. То ли мавзолей, то ли памятник милитаризму. Сто лет немытые окна. Ржавые решетки. Огромная бронированная дверь. Костяшками пальцев я постучал по железу, подергал за ручку. Все подогнано на совесть. Я еще раз постучал. Ни приветов ни ответов. Ясно, внутри никого нет. Не переставая позвякивать ключами, я осмотрел дверь и на уровне пояса обнаружил замочную скважину. На какое-то время я превратился в мальчишку, который мечтает об удивительных приключениях. А что если там сундук с золотом?

...Когда-то у меня был «мерседес» — изрядно потрепанный ветеран с дырявыми крыльями и лысой резиной. Мой первый автомобиль. Не запирая, я бросал его во дворе, прямо под своими окнами.

Там он стоял ночь напролет. Иногда поутру на заднем сиденье я обнаруживал следы, которые оставляли таинственные ночные визитеры — то были винные и иные пятна. Меня это не смущало. Я знал: автомобиль надолго у меня не задержится. Главное, это был «мерседес», и он ездил. И, похоже, никто не собирался его красть.

В одно прекрасное утро я, весело напевая, со свежими газетами под мышкой вышел, можно даже сказать выпорхнул, из подъезда. Продолжая напевать, я сел в машину и, забывшись, вставил ключ от почтового ящика в замок зажигания. Повернул его... и машина завелась!

И на этот раз все произошло, как с «мерседесом». Один из ключей, а именно ключ от моей московской квартиры, легко и плавно, словно родной, вошел в замочную скважину. Дверь тяжело завизжала, и спустя мгновение я очутился в узком темном проходе. Постоял немного, привыкая к темноте. Потом сделал несколько шагов вперед. Нашел выключатель. Лампочки на скрученных проводах, поморгав, испустили желтоватый свет, похожий на лунный.

Ничего интересного. Можно было обойтись и без воспоминаний о старом «мерседесе» и мечтаний о сундуке с золотом. Пять комнат, три — без окон. Канцелярские столы, пара железных кроватей с панцирными сетками, табуретки, деревянные стулья с продавленными сиденьями, множество пустых бутылок, загаженное отхожее место с покосившейся и незакрывающейся дверью и умывальник, полный окурков. Под ногами стеклянное крошево. Несколько грубо сколоченных столов, массивных, обитых листовым железом, похожих на прозекторские. На одном из них графин с желтой водой. Рядом в кучу свалены ржавые отвертки, поломанные гаечные ключи и какая-то металлическая мелочь. Что здесь было раньше? Пыточная? Место уединенных мечтаний?

Несмотря на наличие панцирных кроватей — местечко, малопригодное для ночлега.

Люблю опасные эксперименты, поэтому капельки я принял еще по пути в Москву. Полегчало сразу. Слово кто-то выдул у меня из головы боль вместе с тревогой и неприятными мыслями. Может, Радлов не такой уж и сумасшедший?

...За мной опять следовал темно-зеленый «гелендваген». Надо что-то иметь при себе для самообороны. Пистолет не помешает. Дома, на антресолях, валяется без дела именной браунинг моего революционного пращура. И к нему две обоймы. Оружие должно быть под рукой. Особенно ночью. Под подушкой — вот где его место.

Я решил позвонить генералу. Рассказал о зеленом «гелендвагене».

Он успокоил меня:

— Это наши, охраняют вас.

Пусть охраняют, подумал я. Но пистолетик я все-таки положу под подушку.

Когда я подъезжал к институту, я вспомнил девушку со звездным взглядом. Вспомнил, как взметнулась прядь волос, как пробил ее солнечный луч, ослепивший меня. Я помотал головой, но видение не исчезло.

* * *

Костик сидел рядом с моей секретаршей и делал вид, что любит ее кувшинным профилем. Лицо Любы сияло, раздвигаясь вширь и расцветая под его взглядом. Это уже слишком. Вот что делает с человеком чувство, если его не обуздывать! Явный перебор. Эх, Любаша, Любаша, доиграешься до беды, ибо Костик, мягко говоря, не отличается постоянством и очень скоро деликатно тебя бросит, он это умеет. Причем он обладает поразительной, прямо-таки виртуозной способностью делать это так, что покинутая женщина во всем винит только себя.

Твой муж, Любаша, обнаружив на своей макушке ветвистые рога, вдруг осмелеет и, прежде чем простить, навешает тебе оплеух. И тебе очень повезет, если он этим ограничится. Есть упоение в пороке, есть, но надо знать меру, прелюбодеяние тогда продуктивно, когда оно подконтрольно.

— Помощники Покорного хранят молчание, — сказал Костик, проходя за мной в кабинет и закрывая за собой дверь. — Комплот, одним словом.

— Черт с ним, с Покорным. Тут такое дело... — я сделал паузу, — один серьезный человек из органов отныне будет нас опекать.

— Весь институт только и говорит, что о машине с мигалкой да о Потапове, бегающем по коридору с выпученными глазами. Опекать, говорите? По-моему, это совсем неплохо. Возьмут нас под свое крылышко. В нынешних условиях нам необходима поддержка. Даже на моей короткой памяти... как быстро все это произошло!

— Что — все?

— Да все эти изменения. Людей не узнать, так они изменились, это произошло буквально на глазах. Похоже, Богу надоели наши проделки, и он отчаялся наводить на земле порядок. Его надежды относительно улучшения человеческой породы потерпели крах. Господь озлился и решил передоверить руководство людьми дьяволу. Видимо, Господь полагает, что органы подходят для этой роли как нельзя лучше. Кстати, почему бы ему не организовать Второй Всемирный потоп?..

— Костик, не поминайте имя Господа всуе.

— Все плохо, — он махнул рукой, — и ничего не улучшается. Только хуже становится. А началось все это не так уж и давно. Вековые каноны красоты были порушены. Кумиром Америки и всего мира стала блондинка с кукольным личиком. Мэрилин Монро, кривоногая, крашенная перекисью проститутка с рыхлым бюстом, — это идеал красоты по-американски. А ведь красота — основа всего сущего. Начали с красоты, а закончили атомной бомбой. Негодяи испепелили Нагасаки и Хиросиму и цинично убедили весь мир, что так и надо, что, спалив несколько сотен тысяч мирных японцев, они спасают человеческую цивилизацию от гибели и несут всему цивилизованному человечеству демократию и свободу. И все поверили! Это ужасно! Негодяи совершили самое страшное преступление в истории, которое не снилось и фашистам! Президент Трумэн — величайший преступник! Ничем не лучше Гитлера. Прошло почти восемьдесят лет, сменились поколения, изуверы, сбросившие бомбы, истлели в своих героических могилах, а нынешние американцы, гордо стоя под своим флагом, похожим на матрац, и не думают просить прощения у японцев! И эти ублюдки еще смеют называть мою страну империей зла! Американцы так задурили всем головы, что страна, первой и единственной применившая атомное оружие, служит примером для всего остального мира как идеал демократии и свободы! Словом, все поколесилось!

— Костик, вы ноете, как старик. Вам надо больше общаться с ровесниками. А вас в последнее время все чаще замечают в обществе Боровского, разменявшего седьмой десяток. Мне это кажется подозрительным.

— С Боровским интересно. Почти как с вами. А молодежь... — он опять махнул рукой, — мне с ними скучно.

— Не дело в ваши юные года, так много рассуждать о политике. Политика — последнее прибежище стариков.

— Это не политика, Илья Ильич, это жизнь. Я идеалист. Я еще во что-то верю...

— И во что же вы верите, мой юный друг?

— Вот этого я и сам не знаю, — он тяжело вздохнул. — Наверно, я хотел бы верить в счастливое будущее, когда в мире воцарится справедливость.

— Долго же вам придется ждать...

— О чем вы?

— Для этого вам надо умереть: только там, — я ткнул пальцем вверх, — вы, может быть, что-нибудь и найдете.

— Нет правды на земле, но правды нет и выше...

— Не понимаю, как можно быть таким наивным идеалистом и одновременно — таким бездушным циником.

Он ухмыльнулся.

— Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.

Глава 11

Краткосрочная командировка во Францию. Прилетел ранним утром. Остановился в малюсенькой гостинице под громким названием «Париж». Старинное здание, помнящее, наверно, правление Людовика Четырнадцатого. Лифт на одного человека. Я еле в него втиснулся. Скорость подъема один метр в минуту. Номер под самой крышей. Из окна вид на тихую улочку, застроенную рядами одинаковых двухэтажных коттеджей; в конце улочки золотом отливают луковки православной церкви.

Мне нравятся дешевые отели. Я как-то раз уже останавливался здесь. И снимал тот же номер. Все сияет чистотой. Белье пахнет не дорогим стиральным порошком, а хозяйственным мылом. Кровать с шелковым пологом. Телевизор размером с ученическую тетрадь. По углам расставлены прихрамывающие стулья; кажется, они своим ходом приковыляли с барахолки. Столик с настольной лампой под ярко-оранжевым абажуром. Новенькая Библия. Торшер с шестью разнокалиберными рожками. Исправна только одна лампочка. Остальные перегорели или вывернуты ради экономии. Туалетная комната с покосившимся полом. Зеркало в мелких трещинках. В углу — пирамида из рулонов туалетной бумаги — на глазок не менее полусотни штук. Словно рассчитано на постояльца, который занял этот номер с единственной целью — беспрестанно опорожняться. Пятьдесят рулонов! Неслыханная для француза расточительность. А ведь по части экономии и мелочной скупости французы опережают даже немцев. Унитаз в первозданности — без стульчака. Чтобы удобней было принимать позу орла-стервятника, высматривающего дислокацию съедобного врага. Окно смотрит во двор. Шпингалет зафиксирован так, что хочется накинуть на него веревку и повеситься. Но в целом туалет мне понравился, уютный и просторный. Не хватает только полок с рядами книг.

В тот же день мы с Антонио даль Пра подписали очередной договор. Пообедали в роскошном ресторане. Обед перешел в ужин, увенчанный объятиями, пьяными поцелуями, тостами и заверениями в вечной дружбе. Ночью мне снились кошмары. Утром горстями глотал аспирин.

До вылета в Москву у меня оставалось четыре свободных часа. Я остановил такси и попросил водителя отвезти меня в район Терн. Водитель без труда нашел улицу Ла-Кондамин в семнадцатом аррондисмане. Но никакого дома под номером пятьсот пятьдесят пять там не оказалось. Не было и никакой доски с именами Золя, Верлена, Малларме, Мане и прочих Модильяни. Если честно, я не очень-то удивился. Визитная карточка «Docteur en médecine Pierre Ternovsky» была изодрана в клочья и пущена по ветру.

Приснился Покорный.

— Дорогой Илья Ильич! Простите и еще раз простите! Не увольняйте меня! — вопил он. — Я человек подневольный!

— Подневольным человек становится, если сам того хочет, — строго выговаривал я и при этом дубасил его по голове шахматной доской.

* * *

— Надо все испытать, — сказала Тамара Владимировна.

Мы сидели за столиком у окна. Тамара Владимировна в ожидании заказа грызла соленые орешки.

— Не забывай, — говорила она, — обыватель кормится простыми желаниями. Ты же человек высокого полета, ты создан для великого дела, большому кораблю большое плавание, а малому — каботажное. Килька, хамса, тюлька — это для быдла. Севрюга — для избранных. Ты остановился в развитии. Тебя все устраивает. У тебя трехкомнатная квартира в центре Москвы, потолки четыре с половиной метра, балкон с пошлыми цветами, машина хорошей марки, свободные деньги, красивые девки. Вроде живи и радуйся. По советским меркам ты богач. А по нынешним — нищий.

— Яхта, личный самолет, слава, богатство? Ты это имеешь в виду?

— Да. Формула, и тебе будет завидовать сам Рокфеллер.

— Сколько?

Она назвала сумму, от которой у меня волосы на голове стали дыбом. Но у меня хватило хладнокровия заметить:

— Человечество стоит дороже.

Она скривилась:

— Господи, откуда у тебя этот пафос?!

А перед моими глазами уже шли миллионные толпы сумасшедших. Они крушили все на своем пути. Кровь, кровь, крики, стоны, вопли, звон разбитых витринных стекол... Горящие города... Взрывы атомных электростанций... Сотни падающих самолетов... Танки на площадях... Трупки детей...

— Ты понимаешь, о чем ты меня просишь?

— Не драматизируй. Никто не собирается применять ремедиум. До этого не дойдет. Это... как атомное оружие. Ведь все понимают, что применять его бессмысленно...

— Ты повторяешься.

Тамара Владимировна поднялась.

— Пойду попудрю носик.

Ресторанные завсегдатаи раскрыли рты и разом повернули головы в ее сторону. Посмотреть было на что: несмотря на намек на полноту, у нее была точеная фигурка, идеальные ноги и осанка богини.

— Мослы кривоваты, — услышал я. Крепкий самец с нахальной рожей. При этом он, вызывая улыбку, смотрел мне прямо в глаза. Рядом с ним развалился в полукресле бритый наголо детина в зеленом свитере и джинсах. Голова — астраханский арбуз. Сидят за соседним столиком. Салаты, пиво в кружках и большой графин с водкой.

— Да, кривоваты, — громко согласился арбуз, — зато посмотри, какая задница. Не задница, а мечта поэта, прямо-таки артиллерийский лафет... — этот вообще никуда не смотрел: он сидел с закрытыми глазами и нежно поглаживал свою лысину огромной ладонью.

Я давно знаю этот ресторан. Название «Аист» осталось еще с прежних времен. Ресторан недорогой. Но кухня отменная. Особенно хороши здесь котлеты по-киевски, украинский борщ с пампушками и бифштекс по-деревенски.

Тамара Владимировна вернулась через пять минут.

— Что тут случилось? — она настороженно завертела головой.

Вместо ответа я вылил полфлакона оливкового масла на салфетку, отжал ее, встал, подошел к соседнему столику и, зная, что на меня смотрит весь ресторан, демонстративно медленно протер салфеткой лысину детине, которая сразу засияла, словно ее изнутри подсветили электрической лампочкой. Детина даже не пошевелился. Посетители, затаив дыхание, следили за развитием событий. А будущее, судя по всему, сулило им немало интересного.

— Зря вы его так, он же слепой. И глухой, — с укоризной сказал самец.

— Сейчас я его озвучу.

Тут арбузный детина открыл глаза, поднялся, и мы оба вышли из ресторана. С детства люблю подражаться. И умею это делать...

Полицейские прибыли почти мгновенно. Словно сидели в засаде. Нас, включая смеющуюся в кулачок Тамару Владимировну, погрузили в «воронок» и отвезли в отделение.

Десяток «свидетелей», явившихся неизвестно откуда, принялись, перебивая друг друга, кричать, что сами видели, как этот, они тыкали пальцами в меня, и его «шкирла» зверски избивали посетителей ресторана. В этом им помогали здоровенные парни, которые до приезда наряда полиции скрылись на трех автомобилях с места преступления в неизвестном направлении. Полицейские на это отреагировали вяло. Был составлен протокол. Всех заставили расписаться. А через полчаса отпустили.

— Не знала, что ты это умеешь, — с уважением посмотрела на меня Тамара Владимировна. — Кажется, ты этому детине сломал нос.

Я вызвал такси. Уже в машине, обернувшись, я увидел, как Арбуз, окруженный толпой «свидетелей», грозит мне кулаком.

— В ресторане нельзя спокойно съесть котлетку по-киевски. Обязательно кто-то нахамит, — сказала Тамара Владимировна.

— Уж не ты ли все это подстроила?

— Не говори глупости, — отмахнулась она. — Просто тебе надо уезжать из этого ужасного города, из этой страны. Тебя с твоими знаниями и талантами везде примут с распростертыми объятиями.

Я молчал и потирал подбородок: Арбуз успел зацепить меня.

Глава 12

— Две новости, Сапега! Одна плохая, другая еще хуже. Первая: это скандал, который вы учинили в забегаловке под названием «Аист». В министерстве еще не знают, но у вас столько недоброжелателей... Уважаемый ученый, профессор, почти академик, и устроил, скажут, пьяный дебош в кабаке! — Самсонов смотрел на меня осуждающе и в то же время злорадно.

— Я бы понял, если бы вы поскандалили в «Метрополе»! Так нет, вы выбираете местом своих гнусных эскапад занюханый кабак, ввязываетесь в побоище чуть ли не в чайной у колхозного рынка... м-да... Мне сказывали, с вами это уже бывало. Что это, Илья Ильич, на вас нашло? — издевательски хихикал Самсонов, вертя в руках письмо с фиолетовыми печатями. — Отдубасили какого-то несчастного гегемона-пролетария, — он нацепил очки и углубился в чтение письма, — вот тут пишут, что он честно работает грузчиком, регулярно грамоты получает, спасал кого-то на пожаре, премирован поездкой в Конотоп... а вы и ваша спутница Тамара Владимировна ван дер Вельде... — Самсонов оторвался от письма и хитро посмотрел на меня, — фамилия у нее какая-то не нашенская... Она что, иностранка?

— Возможно. Вообще-то, раньше она была Брагиной. Думаю, теперь она носит фамилию одного из своих заграничных мужей.

— Сколько же их было?

— Похоже, она и сама не помнит.

— Ну и знакомства же у вас! Поосторожней с дамами, Сапега, поосторожней, особенно с иностранными. Времена сейчас, конечно, другие, не те, — он выразительно потыкал большим пальцем себе за спину, — но ведь у вас допуск к сверхсекретным материалам. Убедительно прошу вас, будьте бдительны! Этим не шутят. И эта ваша, как ее... — он заглянул в письмо, — ван дер Вельде, коли у нее было столько мужей... Неужели вас это не останавливает?

— Напротив, это избавляет от массы ненужных проблем.

— Вы так полагаете? Странно... — он опять уткнулся в письмо. — Итак, вы и ваша мадам, предположительно иностранка, зверски и в циничной форме избili простого русского рабочего, не покладая рук вкальвающего на фабрике «Большевичка». Что с вами стряслось? Махали кулаками, как последний хулиган, били человека по лицу...

«С каким бы удовольствием, — подумал я с неожиданной злостью, — я набил бы тебе морду!»

— Скажите по секрету, эта ваша мадам... откуда она? Где вы с ней познакомились?

— У нас в институте.

— ?..

— Когда-то она была помощницей Крылова, вашего предшественника.

Не менее минуты он молчал, переваривая мои слова.

— Мой долг руководителя отреагировать... — наконец сказал он и выжидательно уставился на меня.

Намекает. Жаждет пролезть в ученые. Что ж, попрошу Костика. Пусть на скорую руку сварганит какую-нибудь компилятивную диссертацию.

— Дмитрий Иванович, что вы ходите вокруг да около? Как кот возле горячей каши. Сравнение с котом ему не понравилось. Он даже сморщил лицо.

— Как вы грубы, однако...

— Давайте начистоту. Вам нужна кандидатская диссертация?

Самсонов снял очки.

— А можно докторскую?

Я засмеялся.

— Ну, у вас и аппетиты!

— Значит, можно?..

— Все можно, коллега.

— Вот вы и назвали меня коллегой! — он потер руки. — Вторая новость хуже некуда: объявился Боровский. Жив и невредим, чтоб ему пусто было. В министерстве требуют опять назначить его руководителем Центра.

— А меня куда?

— Ко мне замом по науке. Соглашайтесь, это же повышение. И кабинет в два раза больше... с пальмой в кадке, аквариумом с золотыми рыбками, телевизором и комнатой отдыха. Опять же зарплата... Будете курировать Центр, ваш прежний начальник окажется у вас под каблуком. Ради одного этого стоило бы согласиться.

— А как быть с дракой?

— С дракой? Какой дракой? — изумился Самсонов, опуская бумагу с сиреневыми печатями в мусорную корзину.

В тот же день я переселился в кабинет с пальмой и золотыми рыбками. Верная Люба последовала за мной. Костик сказал, что сварганит Самсонову докторскую за полгода.

Прошла неделя. Мне доносили, что Боровский у себя в кабинете велел заменить сейф. Теперь на месте старинного монстра красуется несгораемый шкаф «Полпред», изделие ярославских умельцев, изготавливающих сейфы для главарей экономического и финансового подполья.

По местной связи я позвонил Боровскому:

— Борис Петрович, срочно зайдите!

— Имейте совесть, Сапега! Что значит — срочно зайдите? Что я вам, мальчишка? Так интеллигентные люди себя не ведут. Это неэтично, я ведь ваш бывший начальник. Кроме того, нехорошо гонять пожилого человека по этажам.

— Ничего, вам это будет полезно. Заодно отдадите мне десять тысяч.

— Какие еще десять тысяч?

— Вчера вы поставили меня в неловкое положение.

— Я вас не понимаю.

— Сейчас поймете. Мое место на парковке для сотрудников было занято роскошным «мерседесом». Уж не вашим ли?

— Допустим. И что из того?

— Ну и наглец же вы! Пришлось мне, заместителю директора, под издевательские смехи сотрудников делать постыдный разворот и припарковаться в переулке в двух кварталах от института. А вечером я обнаружил на переднем колесе «башмак». Там, оказывается, нельзя оставлять машину на ночь. Штраф десять тысяч рублей. Боровский, вы опять поменяли машину. Судя по всему, дела у вас идут неплохо. Десять тысяч вас не разорят. Загляните ко мне, посмотрите, как я устроился в новом кабинете. Я вас коньячком угощу.

— Сапега, у меня встречное предложение. Что вы думаете о легкой, необременительной прогулке по старой Москве? Постоим на набережной, помечтаем. Вспомним былое. А заодно сходим в баню.

— В баню? — опешил я.

— Да-да, в баню. Помоемся. Приведем ногти на ногах в порядок.

В Дорогомиловских банях было не протолкнуться. В предбаннике Боровский принялся шнырять между моющимися, бандитски поглядывая по сторонам. Наконец нашел жертву, какого-то старца с бородой, прилипшей к впалой груди. И попытался у него отобрать мыло, мочалку, веник и даже шайку. Старик яростно отбивался. Тогда Боровский призвал в свидетели самого Создателя:

— Видит Бог, — гремел он, тряся указательным перстом над головой старика, — что все это сегодня приготовила мне моя жена, уважаемая Клара Ивановна...

— Черт знает, где и что готовила тебе твоя окаянная баба! — шипел старик, пытаясь вырвать шайку из рук Боровского. — Это мое! А ты вор!

— Я не вор! — орал Боровский, постукивая указательным пальцем по лысине оппонента. — Я известный ученый! Я член Российской академии наук!

— В бане каждый голый подлец может назваться ученым! — оппонировал противник, отводя в сторону палец Боровского.

— Меня вся Европа знает!

— Вот дам тебе раза, на лбу выскочит, назад не зачешется, срал я на твою Европу!

— Я академик!

— Расстреливать надо таких академиков...

После, уже в раздевалке, Боровский и шумливый старик помирились. Оказалось, что старикан — известный в прошлом литературный критик. Они вместе хохотали и правили друг другу ногти на ногах пилкой Боровского.

* * *

В ресторане Боровский сразу велел принести графин с водкой.

— У вас не бывает чувства, что... что за вами... — начал он, наливая себе и мне по полной рюмке, — что за вами следят?

— Бывает, — сказал я, вспомнив зеленый «гелендваген» с моей охраной.

— Я совсем потерял голову... — говорил он, внимательно изучая меню. — Однако здесь и цены! Закажу-ка я салатик, семужку да утку с яблоками... У меня никак не получается...

— Что не получается?

— Да с этим ремедиумом.

— Слава богу.

- Нет-нет, это ужасно!
- Вы же умница, Боровский. Ну как вы можете? Вы им дадите формулу, раскроете тайну применения... А дальше что? Вы подумали о последствиях? Ведь эти идиоты из Организации на этом не успокоятся.
- Я все это и без вас знаю, — сказал он упавшим голосом.
- Они как-то дают о себе знать? Теряют вас? Звонят? Подают какие-то знаки? Угрожают?
- Пока нет. Но у меня все время перед глазами мельтешат эти окаянные шпаги, ятаганы и утюги. Но в то же время ощущение такое, словно они затаились... или их вообще не было и что мне все приснилось... Нет-нет, что это я! Было, было!
- Я бы на вашем месте так не волновался. Может, все и обойдется. Черт их знает, чем они сейчас увлечены, может, они занимаются сейчас совсем другими делами. А может, их всех поубивали...
- Было бы неплохо...
- Они же, по вашим словам, сумасшедшие, значит, нам никогда не понять, что им взбредет в голову. Может статься, о вас вообще забыли.
- Вы так думаете? — с сомнением сказал он и надолго замолчал. Принесли долгожданную утку. Боровский засучил рукава.
- Он ел сосредоточенно, даже, можно сказать, вдумчиво.
- Я пил кофе, курил и терпеливо ждал, когда Боровский покончит с уткой.
- Иногда мне кажется, что я всю жизнь занимаюсь не своим делом, — сказал он, откидываясь на стуле и вытирая салфеткой губы.
- Если бы это было так, вы не стали бы академиком.
- Мне здесь не нравится, утка пережарена, — сказал он, неприязненно оглядывая зал. — Среди посетителей я не вижу ни одной женщины. Морды у всех какие-то подозрительные. Посмотрите, вон кадка, из нее торчит некое растение с сомнительными листьями. Видимо, пальма. Искусственная, конечно. Как это мы сюда попали? Я полагал, что отвлекусь и мы с вами что-нибудь придумаем.
- Пусть все развивается так, словно нас нет.
- Как это?
- Пустите события в свободное плавание.
- Да... пустишь и останешься без головы. Кстати, где Покорный?
- Зачем он вам?
- Да так, — ответил он туманно, — должок за ним. А я на мели.
- Официант выставил нам счет: двадцать тысяч долларов.
- Платите, — тихо сказал я, наклонившись к Боровскому, — ведь это вы меня сюда затащили.
- Он вытаращил глаза.
- Это какой-то вертеп, — прошептал он мне на ухо, — сплошные бандиты. Посмотрите на их рожи. Какого черта мы сюда приперлись! Даже если я продам машину...
- Платить отказался. Официант сделал каменное лицо и, сказав, что доложит хозяйну, удалился. Спустя минуту в зал вплыл грозного вида блондин с кирпичным лицом и направился к нам.
- В дверях, ведущих в кухню, стояли повара в высоких белых колпаках; в руках они держали черпаки. Боровский вжался в спинку стула.
- Что-то харя мне его знакома, — он показал глазами на приближающегося блондина.
- Жаль, вы не захватили с собой топор, как бы он сейчас пригодился...
- Бой на топорах, половниках и черпаках — это что-то ново... — подняв глаза на блондина, на полуслове оборвал себя Боровский.
- А тот уже стоял у нашего столика и потирал руки.

Боровский вжал голову в плечи. И тут лицо блондина неожиданно расплылось в улыбке.

— За счет заведения, Борис Петрович! — торжественно и уважительно сказал он.

Мы его узнали, раньше он работал аппаратчиком в одной из лабораторий Центра. Боровский радостно всплеснул руками.

— Какая встреча!

— Забыли, как вы меня уволили? — посерьезнел блондин. — За то, что я крыс продавал на «Птичке»?

Боровский наморщил лоб.

— Это не я, — Боровский повернулся ко мне. — Это все он, — Боровский ткнул в меня пальцем. — Страшный человек: дня не может прожить, чтобы не сделать кому-нибудь гадость.

Блондин расхохотался и дружески хлопнул Боровского по спине.

— Если бы вы меня тогда не выперли, я бы и сейчас вкалывал у вас за копейки.

Мы поднялись. Официанты с поклонами проводили нас до выхода из ресторана.

На набережной нам встретилась группа подростков. Один из них отделился от группы и, прихрамывая, направился к нам. В руке он держал трость с металлическим набалдашником. Грубым, ломающимся голосом он сказал Боровскому:

— Папаша, угостите, пожалуйста, сигареткой, — попросил он, поигрывая тростью.

— Ну вот, начинается, — прошептал Боровский. — Сейчас бить начнут. Говорил, говорил я вам, что эти ваши прогулки по вечерней Москве могут плохо кончиться!

— Не вы ли сами предлагали прогуляться? — раздраженно спросил я. Мне очень не понравилась трость с металлическим набалдашником.

Профессор остановился и уставился на парня. Боровский не был бы Боровским, если бы не избрал самый худший вариант уличных разборок.

— Неприлично, молодой человек, — стал поучать он наглеца, — просить на улице у незнакомых людей, только что вышедших из питейного заведения и наслаждающихся прекрасным вечером... — Я дернул его за рукав. — И потом, я некурящий.

— Так бы и сказали... — неожиданно обиделся парень. — Вообще-то, я только что из сумасшедшего дома, — вдруг признался он. — Там люди куда добрее... Лечился я от...

— Можете не продолжать, — перебил его Боровский, — последствия передозировки. Вытащили тебя, голубчика, с того света.

— Лучше бы не вытаскивали, — с тоской сказал парень.

Его приятели издали наблюдали за нами.

— Лучше красиво помереть в эйфории, чем жить такой жизнью, сплошные сумерки на душе, — сказал он и неожиданно всхлипнул. — Подумываю вернуться...

— Вы сумасшедший?

— Разумеется.

— А вы знаете, в ваших словах что-то есть, некое здоровое зерно, — сказал Боровский, доставая из кармана пачку сигарет и с рассеянным видом протягивая ее парню. — На фоне всеобщего безумия проявления явного сумасшествия можно принять за самоочевидные признаки здравого рассудка. А в лечебницу? Не советую. Вы недостаточно сумасшедший, поверьте специалисту. Живите полной жизнью, наслаждайтесь юностью, девушками, пока не постареете; человек, к вашему сведению, стареет на удивление быстро и незаметно для себя, помните об этом. Пока вы молоды, — в голосе Боровского появились завистливые нотки, — берите от жизни все, что можете.

Парень невнимательно прослушал рацею Боровского, потом хмуро попрощался и медленно двинулся к своим приятелям.

Боровский проводил его взглядом. Потом посмотрел на меня. В глазах его я увидел отраженный безумный блеск случайного прохожего.

- Да не смотрите вы так! — заорал он на меня. — У вас взгляд безумца!
Он взял меня под руку.
— Да, — сказал он, понемногу успокаиваясь, — по столице ночью лучше не ходить...

* * *

- Люба второй день не может найти Костика.
— Запил, наверно, — плачет она.
— Костик же непьющий.
— Много вы знаете!
— Люба!
— Простите, Илья Ильич, я в растрепанных чувствах.
— Когда Костик объявится, пошлите его ко мне.
— Он никогда не объявится... — она зарыдала. — Он мне говорил, что чего-то опасается. Напивался и говорил, что нет правды на земле, но правды нет и выше.
— Это не он, это Пушкин.
— Вот видите, и Пушкин говорил о том же, значит, и тогда не было правды.
Я вспомнил, что Костик в последнее время ходил мрачнее тучи, и если и шутил, то шутки и разговоры его припахивали кладбищем. Рассказывал, что в студенческие годы по утрам подрабатывал рытьем могил. Вставал рано, чтобы после кладбища успеть на занятия. Мать его была большой шутницей. Каждое утро она будила его словами: Костик, вставай, тебе давно пора на кладбище!
Звонили его жене. Та сухо ответила, что ничего не знает и знать не желает.
— Какими же неблагодарными бывают люди! — удивлялась Люба.
Костик появился через день. Зашел ко мне. Сидел, молча пил кофе. Я спокойно ждал, когда он разговорится. Он почесал указательным пальцем нижнюю губу и брякнул:
— Они хотят встретиться с вами. Я все знаю. Мне объяснили...

* * *

- Ночью меня разбудил телефонный звонок. Тамара Владимировна. Задыхающимся голосом — от страсти? — сказала, что жить без меня не может. Я спрашиваю:
— Откуда ты говоришь?
— Из Ниццы. Так ты решился?
— На что?
— Ты же обещал... Кроме того... — тут она, видимо, прикрыла трубку ладонью, но я слышал, как она капризно кому-то сказала: — Отстань, я говорю с братом...
И снова мне:
— Ты что, забыл? Я тебя не тороплю. Но поторапливают меня. Говорят, что ты слишком долго созреваешь.

* * *

- Я проводил летучку с завлабами. Распахнулась дверь, и в кабинет влетела Люба.
— Боровский сошел с ума, — упавшим голосом сказала она, — Борис Петрович пришел на работу без штанов.
— Без брюк, Люба, — строго поправил я, — без брюк!
Завлабы дружно поднялись и двинулись к выходу. Один из них, профессор Нисельсон, подмигнул мне. Он был давним приятелем Боровского и хорошо знал, на что тот способен.

Я заглянул к Боровскому. Он примеривал брюки, озабоченно вертеться перед зеркалом. Я расположился на диване, закурил и с интересом стал рассматривать своего друга. Конечно, комедию с брюками он затеял не случайно: с сумасшедших взятки гладки.

— Это что, мода такая — разгуливать по улицам в неглиже?

— Какая досада! — он с трудом оторвался от зеркала. — Еле сходятся в талии, я располнел, придется сесть на диету. Или купить новые. Хорошо, что я держу на работе резервное обмундирование. Как чувствовал... Она сказала...

— Кто она?

— Клара Ивановна, будь она проклята. Я думал, она на даче. Короче, она застучала меня *in flagrante delicto* с соседкой, я давно на нее поглядывал, хотя ей и за шестьдесят. Нашла к кому ревновать, к пожилой тетке! Правда, соседка еще хоть куда. Сначала мне не понравилось, что у нее вставная челюсть, и я опасался, как бы она у нее не вывалилась в самый неподходящий момент. Но все шло гладко до той поры, пока в спальню не ворвалась Клара Ивановна... — он надолго замолчал, видимо отдавшись тяжким воспоминаниям.

— Боровский, ваши паузы меня доконают!

— Клара выкинула нас обоих из спальни, несмотря на наше яростное сопротивление. Надо признать, физически Клара многократно превосходила нас, она очень окрепла в последнее время, видно, сельскохозяйственные работы и деревенский воздух пошли ей на пользу. Она налилась богатырской силой, как какой-нибудь Илья Муромец. Мне даже показалось, что она стала выше ростом. Чресла и все остальное как из стали. Соседке закатила такую оплеуху, что та укатилась под кровать. Кстати, соседка проявила невиданную отвагу: из-под кровати угрожала Кларе самосожжением. Шум поднялся несусветный! Клара кричала, что голым в Африку меня пустит. Голым — это я понимаю, но при чем здесь Африка, что за вздорные фантазии? — он пожал плечами. — В довершение ко всему она изрезала садовым секатором все мои брюки. И вот я перед вами. Я едва успел надеть пиджак. Да-а... странный народ эти женщины. Нам, мужчинам, никогда не совладать с загадками женской логики.

— Что вы имеете в виду?

— Поясняю. Мне кажется, — он задумчиво почесал переносицу, — мне кажется, что Клара и соседка что-то затевают. Вместо того чтобы продолжить боевые действия, они как-то слишком быстро нашли общий язык, и когда я, как подбитый камнем петух, вылетал из квартиры, они сидели на кухне, гоняли чай и калякали о погоде. Сам черт не поймет этих баб! Жаль, — он захохотал, — вы не видели рож моих подчиненных, когда я с величественным видом, покровительственно кивая на ходу, проходил мимо них без штанов, но в пиджаке и сорочке с галстуком! Вы спросите, почему я явился на работу в таком виде? Для меня долг — прежде всего, — с пафосом произнес он. — Я, как всякий дисциплинированный служащий, не мог не прийти вовремя на работу. И неважно, были на мне штаны или нет. О чем вы задумались? — он подозрительно посмотрел на меня.

— Да вот думаю, не перечить ли мне брошюру «Первые признаки сумасшествия».

Он хихикнул и погрозил мне пальцем.

— Что вы сделали с моими сотрудниками? От безделья они за время моего вынужденного отсутствия превратились в идиотов. Они беспрерывно играют в морской бой и режут в карты. Общаются друг с другом с помощью междометий и мимики. По минутно делают селфи. Глупо улыбаются и говорят «сы-ы-ыр». Похоже, к кораблю дураков присоединяются флотилии умалишенных.

— Все это так. Но начали они дурака валять еще при вас. Лучше скажите, Боровский, почему вы вернулись?

— Я не смог привыкнуть к бездействию, состоянию совершенно новому и непривычному для меня. А вы?..

— Что — я?

— Почему вы ничего не предпринимаете?

— А что я должен предпринимать?

— Если за вас всерьез возьмутся люди Организации, вам придется лихо. Хорошо нагретый уют... и через пять минут вы выложите им не только то, что знаете, но и то, чего не знаете. Я бы на вашем месте дал деру.

— Жизнь научила меня умению ждать. Пусть поработает время, в этом ожидании следует находить утешение.

— Дело хозяйское. Не говорите потом, что я вас не предупреждал.

Глава 13

В нашем доме стало опасно жить. На прошлой неделе обчистили квартиру на третьем этаже. Украли столовое серебро и картины. Это уже второй случай за последние два месяца. До этого грабители среди ночи проникли в квартиру престарелого преподавателя Гнесинки, моего соседа по лестничной площадке, и, переступив через спящего ротвейлера, вынесли кабинетный рояль и педальную арфу.

Вчера, прежде чем лечь спать, я, стараясь ступать бесшумно, обошел квартиру, заглядывая в углы и прислушиваясь к шорохам, которые, как известно, появляются тогда, когда у человека нет покоя в душе. Потом погасил свет. Раздвинул шторы, распахнул окно и принялся осматривать двор.

Фонари на столбах отпускали двору так мало жиденького дрожащего света, что казалось, не свет источают они, а тревогу. Неясные тени блуждали под кронами деревьев, за одноэтажными гаражными постройками и по искусственному газону малюсенькой спортплощадки. Мне почудилось, что ночной душный воздух вдруг наполнился разнородными звуками: бормотанием человеческих голосов, суетливой, беспокойной беготней, придушенными стонами, скрипом калитки и даже топотом верховой лошади.

Отгоняя слуховую галлюцинацию, я встряхнул головой и еще раз принялся осматривать двор, на этот раз более внимательно.

Глаза довольно быстро привыкли к полутьме, и под фонарем я увидел сидящих на лавочке двух субъектов. Они расположились со всеми удобствами. Оба были в модных кепках с удлиненными козырьками. Один, с остrokонечными усами, как у Сальвадора Дали, со скучающим видом дымил сигаретой. Второй же, безусый, пил вино прямо из пузатой бутылки. У его ног стояла хозяйственная сумка, из нее торчали горлышки еще трех бутылок. Видно, они что-то услышали, потому что, задрав голову, уставились на меня. Потом тот, усатый с сигаретой, почтительно улыбнулся и, отсалютовав кепкой, театрально подкрутил ус.

Рядом с гаражами я заметил размытые темнотой угловатые очертания «гелендвагена». Охрана, мать ее. Выпивают, курят. Я вспомнил, как обдурил их или их коллег на трассе Москва—Серпухов. Такие ни черта не умеют. Только и делают, что гоняют на машинах по ночной Москве.

Я задернул шторы и отправился проверять входную дверь. Ее надежность меня разочаровала. Массивным стулом от старинного гостиного гарнитура я подпер дверь

под углом в сорок пять градусов. Если какой-нибудь злоумышленник вознамерится прорваться в мою квартиру, я буду оповещен об этом упавшим стулом. Для верности я подвесил к дверной ручке сувенирный колокольчик.

Только после этого я немного успокоился и улегся в постель. Сон мой был тревожен и легок. Я проснулся сразу, как только услышал шорохи, идущие из коридора. Потом я услышал, как мягко на ковер в прихожей упал стул и тут же нежно звякнул колокольчик.

Прадедовский браунинг я уже несколько недель держу под подушкой. Лежа в крошечной тьме, я долго не раздумывал. Нащупал пистолет, спустил предохранитель. И как только увидел грабителя, вернее, его черный силуэт на фоне окна, выстрелил. Нежданный гость, охнув и волчком завертевшись вокруг своей оси, осел на пол. Я зажег верхний свет и с опаской подошел к преступнику. Не мигая, на меня злобно смотрел парнишка лет пятнадцати.

— Стреляете во всех без разбора, — простонал он и матюгнулся. — Ведь так и убить недолго. У меня очень болит рука.

Неужели такие, как этот заморыш, украли у моего соседа рояль и арфу?

— Э-э, брат, да тебе нужна срочная медицинская помощь, — сказал я, увидев, что из раны в руке ниже локтя тонкой струйкой вытекает кровь. Из носового платка я соорудил жгут. Пока я его перевязывал и набирал сто двенадцать, мальчишка продолжал материться.

Через четверть часа по моей квартире засновали медики и полицейские. Мальчишку положили на носилки и унесли.

— У вас есть разрешение на владение огнестрельным оружием? Откуда у вас пистолет? Купили на блошином рынке? Подарил знакомый грузин? — спросил чин в форме майора.

Я сидел на кровати. На мне были шлепанцы и халат. После вопроса майора в комнате запахло перегаром.

— Это именной пистолет.

— Именной?

— Да, семейная реликвия. Из этого пистолета мой прадед, красный командир Первой конноспортивной, расстрелял великого князя Взмалтуила Константиновича.

— Взмалтуила Константиновича, говорите? — недоверчиво протянул майор. — Что-то не припомню такого князя. Да и Первой конноспортивной... Расскажите все по порядку.

— Без адвоката отвечать отказываюсь.

— Ты только послушай его, — повернулся майор к подошедшему капитану. — Он думает, нарвался на дураков. Запомните, гражданин Сапега, здесь я распоряжаюсь, допускать к вам какого-то вшивого адвокатишку или не допускать. Поняли? Учтите, чистосердечное признание облегчит вашу участь.

— Кстати, — мутным голосом пробурчал капитан, — я тут где-то прочитал, что признание — мать доказательств. Признавайся! — вдруг заревел он.

— Успокойся, Леня, — удержал его майор. — Он парень понятливый и так все расскажет.

Прежде чем капитан успел открыть рот, я спросил:

— Могу я позвонить?

— Это еще кому? Адвокату?

— Нет, в ФСБ, генералу Рыбину.

Через минуту мой дом опустел.

Было еще рано, и я не стал звонить генералу. Около десяти он позвонил сам. Я рассказал ему о ночном происшествии. А заодно о драке в ресторане. Описал внешность своих противников. Генерал, не перебивая, слушал. Было понятно, что он уже обо всем знает, наверно от своих людей в модных кепках, и слушает меня из вежливости.

— Напрасно вы звонили в полицию. Звонили бы мне... — недовольно проговорил он. — Извините за тон. Я всю ночь не спал, работы невпроворот.

— Кстати, должен вам пожаловаться на ваших подчиненных. В отличие от вас, они прекрасно проводили время: всю ночь курили и утоляли жажду вином. Так-то они охраняют покой законопослушных обывателей.

Генерал никак на это не отреагировал.

— Я не могу понять, почему... какой-то мальчишка... — недоумевал я.

— Поверьте, это случайность.

— Не слишком ли много случайностей?..

— Вы даже не можете себе представить, со сколькими случайностями буквально на каждом шагу приходится сталкиваться нам, работникам спецслужб, как приходится все предвидеть и учитывать... Сколько операций было загублено теми, кто не понимал, какую роль играет случайность. А вы ничего не предпринимайте, без вас разберемся, а так вы только дров наломаете, — закончил он.

Кстати, пистолет у меня не отобрали. Хорошо иметь в приятелях генерала ФСБ.

Глава 14

Господь существует. Это открытие я сделал, вспомнив, что говорил по этому поводу Боровский незадолго до своего парижского приключения. Он говорил, что Господу на все наплевать. И что Господь ни на что не влияет. Просто посиживает себе на облаке-перине, равнодушно взирает с небес на безумства человечков и усмехается в бороду.

Повторяю, Господь существует. И не надо никаких доказательств. Вернее, доказательство есть. И оно сильнее Библии. Предъявляю: родился я, и никто другой родиться не мог. Если хорошенько обмозговать это, то наши представления о природе, мироздании и мировом порядке предстанут в ином свете. Помнится, и Боровский что-то говорил про это.

С детства во мне жило убеждение, что я бесконечно, трагически одинок. Человечество как бы существовало помимо меня. Я — отдельно, все остальное — само по себе. Мое одиночество было экзистенциальным. Оно было моей сущностью. Прежде это чувство не пугало меня. Я к нему привык. Им не надо было ни с кем делиться. Даже с теми, кого я любил. С некоторых пор все поменялось, и одиночество незаметно превратилось в проблему.

Эти мысли атаковали мои мозги на протяжении нескольких недель. Наконец я посчитал, что с меня довольно. Пора было менять обстановку, это помогло бы мне взглянуть на проблему одиночества отстраненно, а для этого надо было нырнуть в гущу людей.

Старинный город на юге Италии. Я и девушка, взятая напрокат сроком на неделю. Девушка была очень хороша собой.

Умопомрачительно красивый город, дремлющий в летнем мареве, колдовской воздух, напоенный запахами субтропических цветов, фруктов и моря, — все это не могло не повлиять на мою восприимчивую натуру. Какое там одиночество! Через пару дней и ночей я с легкой тревогой заметил, что мне нравится общество красотки. Тем более что она была нежна, скромна, немногословна, умна, мила и непосредственна.

Я не противился чувству. Вернее, его искусному суррогату. Суррогату счастья. Похожему на рекламу шоколадных конфет. Бывали моменты, когда мне казалось, что я скольжу по поверхности молочной реки в крылатой ладье, сотворенной из розовых лепестков.

Девушка (язык не поворачивается назвать ее «проституткой») была чиста, как утренняя заря, и свежа, как дочь Гипериона и Фейи. Казалось, она провела ночь не с клиентом, а с возлюбленным — прекрасным Титоном.

В уютном ресторанчике рядом с отелем мы пили утренний кофе с пирожными. Потом, тесно прижавшись друг к другу, до полуночи бродили по городу. Все было, как в сусальном кино про любовь. Казалось, мы по уши погружены в незамутненные воды неореализма.

...Это произошло вечером, на главной площади города. Вдруг странное чувство овладело мной. Я остановился и замер. Огляделся. Увидел знаменитые статуи. Копии и оригиналы. Меня окружали бронзовые и мраморные фигуры богов и героев. Они очень походили на реальных людей. Только боги и герои выглядели красивей и убедительней.

Попирая подошвами древние камни, по площади толпами, группами и в одиночку сновали туристы со всех концов света.

Так было вчера, так было и двести, и триста лет назад. И так будет завтра, и послезавтра, и еще долго-долго после моей смерти.

Я стоял и пытался разобраться в себе.

Во мне зарождалось удивительное ощущение. Это был коктейль из болезненно сладкой печали, любви ко всему, что меня окружало, и короткого, как удар молнии, прорыва ко всем временам разом — в прошлое, настоящее и будущее.

На мгновение я потерял способность воспринимать себя как индивидуума. Я как бы разлился в пространстве, просочившись во все закоулки и потаенные места волшебного города.

Я вдруг почувствовал с трагической ясностью, что сюда, на эту площадь со стертой и выбитой брусчаткой, моя нога уже никогда не ступит. Я знал, что это мгновение никогда не повторится. Это было мое постепенное и неизбежное расставание с миром живых людей, это расставание уже началось, и это прощание было мне дорого.

Я многое понял в тот вечер. Но словами выразить свое понимание не сумел бы. Все было на уровне ощущений. Я был близок к разгадке, но остановился в шаге от нее. Да иначе и быть не могло. Но и это было пусть и маленькой, но победой над всей моей прошлой жизнью, полной заблуждений, грехов и ошибок.

Надо бы почитать Штайнера. Чтобы еще сильнее завязнуть в своих мыслях и ощущениях? — одернул я сам себя. Миллионы мыслей, путаясь, мелькая, возникая и тут же без следа исчезая, бесчинствовали в моей голове.

Зачем Господь все это затеял, я имею в виду эту жестокую свистопляску, этот его жестокий эксперимент над людьми, их жизнью в каждодневных тревогах и смертью в недоумении? Подозреваю, что пока я жив, ответа мне не найти. Возможно, найду после смерти. Что ж подождет. Господь, дав мне жизнь, позаботился обо мне на этом свете — пусть позаботится и на том.

Кто только не пытался проникнуть в загадку смысла жизни! Лев Толстой говорил, что смысл в движении. Гёте — в полноте жизни. Вольнолюбивый сын России анархист князь Кропоткин — в свободе личности, мысли, творчества. Надо бы при встрече по-расспросить Тамару Владимировну, что думают по этому поводу ее приятели-анархисты, ретивые последователи князя. Только ли утюги да шпаги у них на уме?

Неделя показалась мне долгой, что редко бывает, когда тебе хорошо. Конечно, я глупый мечтатель. Обнимая красотку, которая за деньги искусно изображала любовь, я каждый раз думал, что обнимаю Сашу, девушку со звездным взглядом и удивительным голосом — серебряным колокольчиком, звенящим в поднебесье.

Глава 15

— Вы думаете, мне все это очень надо? — говорил Боровский. Вот уже второй день он сидит в кресле директора института. Самсонов с катастрофичным для него понижением отправлен завхозом в наш подмосковный филиал. Надо бы позвонить, осведомиться, нужна ли ему теперь ученая степень.

— Вот уж никогда бы не подумал, что вознесусь столь высоко! — Боровский, красуясь, повернулся ко мне в профиль и задрал подбородок, став похожим на портреты Бенито Муссолини.

— Учтите, на войне ситуация меняется с каждым мгновением, — не без яду напомнил я ему известное изречение. — Сегодня повысили, завтра вышвырнут на улицу.

— Я не против первого и не против второго. Настоящая жизнь тем и хороша, что не дает скучать. Под старость будет что вспомнить.

Я заметил, что фото с Пастером и его ужасной обезьяной исчезло, а рядом с портретом президента Боровский повесил свою фотографию, на которой он был запечатлен выходящим из бани. Причинное место было прикрыто можжевеловым венком.

— Итак, сбылась мечта идиота, я снова ваш подчиненный, — сказал я.

— Вы опять меня оскорбляете!

— Я имел в виду себя. А вы стали большим руководителем. Можете из меня теперь веревки вить. Ешьте меня, пейте мою кровь.

— С удовольствием попою, уж будьте благонадежны. Надо же вам как-то отомстить за ваше суровое гостеприимство. Хотя яичница была выше всяческих похвал.

Он встал с кресла и принялся, как его предшественник, с озабоченным видом вышагивать по кабинету. В этот момент в кабинет заглянул профессор Ниссельсон.

— Боря, тебя можно поздравить? — спросил он серьезным тоном. — Вот уж не думал, что для того, чтобы стать директором, надо лишь разок прогуляться по институту без портков...

— Сгинь, нечистая сила! — заорал Боровский.

Ниссельсон сделал страшное лицо и скрылся за дверь.

— Сам не знаю, как это получилось. Все это неспроста. Я же говорил, что у них, — Боровский поднял глаза к потолку, — везде свои люди.

— И в министерстве?

— Я же говорю — везде. Напрашивается прозаическое объяснение моего внезапного возвышения. Сделав меня директором, эти негодяи из Организации надеются, что так мне будет легче справиться с Формулой. Я все время думаю о ремедиуме и о...

— И об утюгах с парогенератором?

— Да, и об этом тоже. Придется, если не найдем всю документацию, возобновить программу исследований. Воссоздать вторую часть — это моя цель.

— А моя цель — помешать вам в этом.

— Поймите, они меня уничтожат! Они меня преследуют! Когда я вечером иду по улице, мне кажется, что за каждым углом притаился злодей с тесаком.

— Не гуляйте по вечерам. А перед сном выпейте тазик валерьянки. Должно помочь. Выспитесь и приведете психику в норму.

— Я и спать-то боюсь... Кстати, не могу не поделиться с вами новостью: моя Клара мне изменяет.

— Да будет вам!

— Я не шучу. Она вступила в преступную связь с соседкой. Господи, что за времена! А мне стали сниться дурные сны. Будто меня пилят двуручной пилой, соединенной электроприводом с утюгом.

— У вас бредовое состояние. Бредовые идеи чрезвычайно разнообразны по своему содержанию. Это могут быть идеи: отравления, воздействия, материального ущерба, колдовства, порчи, обвинения, преследования...

— Не надо читать мне лекций!

— От страха вы немного разнервничались, — продолжал я, не слушая его, — вот вам и кажется, что у ваших анархистов везде свои люди и что вас преследуют.

— Я и без вас прекрасно знаю, что после всех этих историй слегка помешался, — признался он с горечью. — Но жить-то хочется! Кстати, нашелся Покорный?

— Увы, нашелся.

— Покорный, судя по всему, в их команде. А когда-то... — Боровский на минуту задумался, судя по всему, что-то припоминая. — Скоро Покорный будет пугать меня утюгами... а ведь совсем недавно был совсем ручным.

Глава 16

— Я в Москве, — услышал я в трубке журчащий баритон Терновского. — Хорошо бы пообедать вместе. Как насчет «Праги»? Часика в три?

Я вспомнил, как рыскал по семнадцатому аррондисману в поисках квартиры номер пятьсот пятьдесят пять.

— Ничего не выйдет, сегодня я занят, — сказал я сухо.

— Илья Ильич! — взмолился он.

— Разве что завтра... или послезавтра... — я зашуршал страницами перекидного календаря.

— Я прилетел всего лишь на день!

Я молчал, с удовольствием испытывая его терпение.

— Завтра меня уже не будет в Москве, — настаивал он плачущим голосом. — И вообще я не знаю, буду ли вообще где-нибудь.

— Черт с вами! — сжалился я. Мне уже было ясно, что Терновский как-то связан со всеми моими неприятностями.

Через час Терновский мне во всем признался. Пять рюмок коньяка развязали ему язык.

— Вы мне симпатичны... — он попытался положить ладонь на мою руку. — И потом, мы все-таки коллеги. И еще, у меня дочь...

— Вы, кажется, говорили, сын? — сказал я, убирая руку.

— Один черт, родня... Впрочем, есть и сын. Я в разводе... Жена ушла, как только поняла, что я неудачник. Вышла замуж за владельца фирмы по уборке улиц. Подумать только, моя бывшая жена стала женой дворника! Какое унижение для меня! Кстати, у них своя вилла под Парижем.

— Шикарно живут у вас дворники.

— И не говорите. А ведь мы прожили с ней почти пятнадцать лет!

— Долго же она ждала своего дворника...

— Почему вы мне грубите?

— А почему бы и нет? Кто напел мне про дом с Малларме и Модильяни?

— Такой дом действительно существовал, но его снесли, — оправдывался Пьер.

— Может, его снесли вместе с вами? У вас, вообще, есть адрес постоянного проживания? А машина? Черная машина, которая меня чуть не убила?

— Не рассчитали. Там...

— Где там?

— Это логовище зловещих типов. Называют они себя просто — Организацией.

— Что-то слышал...

— Это новая популяция продвинутых, очень богатых молодых людей, которые не знают, что такое мораль, и которые не остановятся ни перед какими жертвами ради достижения своих целей. А цели у них грандиозные...

— Знаю, завоевание мира. А машина?

— Кто-то хотел вас поугубить, а кто-то — ликвидировать. А получилась серединка на половинку.

— А как они вас-то заманили в свои игры?

— Они работают по всем направлениям. Выяснили, что вы имеете прямое отношение к какому-то сверхсекретному средству, способному свести с ума миллионы. Не думаю, что это правда, но они очень опасны. Я пешка... — Он вынул платок и приложил его к глазам.

— Только не вздумайте плакать!

— Я беден, меня обобрали жены.

— Так сколько же у вас было жен?

— Одна. Но обирали многие... Вы знаете, какими жестокими и непреклонными могут быть француженки?

— Не знаю и знать не хочу.

И он начал сбивчиво, перескакивая с пятого на десятое, повествовать о своих бедах. У него даже появился провинциальный акцент, куда подевалась петербургская манера?

— Я был весь в долгах, как в шелках. Я играю... Я зависим. Как наркоман. Проигрался в Ницце. До нитки. И стал легкой добычей. А чего не сделаешь ради того, чтобы выпутаться. В Организации же разыгрываются разные сценарии. Пришлось и мне... Я принимал участие... — он оглянулся и понизил голос. — Они заставили меня убить... человека. Слава богу, я промахнулся. Но одно время за мной охотилась вся парижская полиция. Им удалось меня отмазать. Кому-то что-то пообещали, кому-то дали взятку. И я оказался у них в руках. Они подбирают людей с подмоченной репутацией, чтобы легче было ими манипулировать, проверенный прием. Их ходы очень трудно просчитать. И это естественно. Они все немного сумасшедшие. А как просчитать шаги сумасшедшего, если он сам еще не знает, что вытворит через минуту.

— А какого черта вы подсунили мне вашего приятеля Радлова? Он же псих.

— Если честно, я вообще с ним незнаком.

— Неужели вы не могли найти достойный выход?

— Мне приходил на ум только один: броситься под поезд. Я в ловушке. Мой сын... Они украли его и где-то держат. Я это знаю, они разрешают мне разговаривать с ним по телефону раз в неделю. Я не хочу участвовать... не хочу быть пешкой в чьей-то подлой игре. Помните, я вам рассказывал о профессоре Воскобойникове, у которого я учился петербургскому выговору. Считайте, что учился у него не только этому... Если мы объединимся...

— Пьер... — я увидел, как его передернуло.

Я вдруг с изумлением увидел, что лицо его мокро от слез.

— Илья Ильич, они украли моего сына. И заставили... они анархисты, заставили меня найти сведения об истоках анархизма во Франции. Я и не знал, что родина анархизма — это Франция. Я выкрал из Пьемонтского замка старинные рукописи. Ну, не совсем старинные. Семнадцатого века...

— Послушайте, Петр, я не знаю, как вам помочь.

— Так дайте им что-нибудь.

— О чем вы?

— Они говорили о формуле... Дайте им эту проклятую формулу.

Пришлось объяснять Терновскому, что представляет собой ремедиум и какие угрозы таятся в нем.

- Не может быть! — ужаснулся он.
- Может. Насколько я понял, у Организации практически неограниченные возможности. Им не составит труда уличить меня в обмане. Я дам им какую-то липу, а они уже через день поймут, что их надули. И тогда будет еще хуже...
- Он схватился за голову.
- Что же мне делать?
- Черт его знает. Кстати, чтоб вы знали, этой формулы в окончательном виде вообще не существует, — солгал я.
- Что же мне делать? — повторил он. — Что я им скажу? Ведь они меня направили к вам, чтобы я втерся к вам в доверие.
- Вам это почти удалось.
- Я весь как на ладони, я вам открылся. Пусть я скверный человек, но я же врач! Не могу же я, в самом деле, помогать этим ненормальным гадам убивать и сводить с ума людей. Так что же мне делать? Ведь мой сын...
- Я хочу вам помочь, но не знаю как, — сказал я.
- Господи, что же мне делать?
- Некоторое время я делал вид, что раздумываю.
- Хорошо, — наконец сказал я, — можно попробовать. Передайте им, что вам показалось, будто Сапеге самому захотелось поучаствовать в их экспериментах.
- Терновский выпучил глаза.
- Поймите, Пьер, — успокоил я его, — сейчас главное — это тянуть время. Думаю, мы не единственные, с кем они на ножах. Будем надеяться, что кто-то, кто неизмеримо сильнее нас, свернет им шею прежде, чем они свернут шею нам.

Глава 17

...Всю ночь валил снег. Я закутался в халат, который продолжал сохранять в своих складках ароматы женских духов. На миг мне почудилось, что я женщина, которая только-только встала с ложа, на котором со страстью отдавалась нежному любовнику.

Я вышел на балкон. Пахнуло свежим морозцем. Сочетание духов с морозным воздухом произвело на меня странное впечатление: захотелось, подхватив полы халата, полетать по двору. Самое время, подумал я, отдаться далеким воспоминаниям, восходящим к годам юности. И память не подвела.

Вспомнилось далекое время, когда я после любовного свидания под утро вернулся домой и долго стоял у раскрытого окна. Была зима, и был мороз. Я чувствовал, как пылает мое лицо, а глаза сияют, как звезды. Счастье переполняло меня, и весь мир лежал у моих ног. Впереди была жизнь. И конца ей не было видно. Как и сейчас, мне захотелось немедленно взлететь под пушистые облака. Я был почти уверен, что смогу это сделать, и если бы не мать, вошедшая в комнату, я бы, наверно, попытался взмыть в поднебесье. Мать отчитала меня за то, что я выстудил квартиру. Я захлопнул окно и отправился спать. Я тогда не знал, что то утро в моей душе будет жить вечно.

...Я перегнулся через перила. Глянул вниз. Высоковато. Не летаешь. Годы не те. Да и большая часть жизни уже позади. Впереди не было ничего, кроме тревоги и неизвестности. Счастье осталось в юности.

По двору, оставляя на снегу малюсенькие следы, сгорбившись, плелся мальчик с огромным ранцем за спиной. Малолетний калика перехожий, опаздывающий на первый урок. Не хватает только, чтобы этот согбенный страдалец затянул песнь об Иоасафе-царевиче. Как бы услышав меня, мальчик громко запел знакомую мне с детства матерную частушку. Я стал тихонько ему подпевать. Времена меняются не так уж сильно, отметил я про себя.

Желание взлететь в поднебесье никуда не делось. Но меня остановило благоразумие. Позвонил из Парижа Терновский.

Сказал, что передал им мои слова.

— Вы знаете, кажется, они мне поверили. И сына, сына вернули! Одно меня беспокоит: сын больше не подходит к компьютеру. Говорит, видеть его не может. Мечтает стать футболистом. Я ничего не понимаю, — повторил он.

— Как вы думаете жить дальше?

— Буду жить, как жил. Может, переберусь куда-нибудь — от греха подальше. Может, в Австралию. Говорят, там люди ходят вверх ногами, попробую, может, и мне удастся.

* * *

— В битве при Сольферино, вернее, при деревне Селятино в ожесточенном бою с превосходящими силами противника смертью храбрых пала Клара Ивановна Боровская, действительный член садово-огородного товарищества «Выдра». Наконец-то я свободен! — кричал Боровский. — Какое упоительное ощущение! Она погибла, защищая уголья от нашествия летающих кровососущих тараканов. Отпевание в среду, в церкви Василия Египтянина на Куличках. Предлагаю почтить память моей жены вставанием, — удобней устраиваясь в своем директорском кресле, торжественно произнес он.

— Скорблю вместе с вами. Кстати, не далее как час назад я видел Клару Ивановну в институтской столовке, — заметил я сдержанно, — она услаждала себя украинским борщом. Нехорошо шутить такими вещами, Боровский.

— Уж и помечтать нельзя, — он с безнадежным видом махнул рукой. — Но почему она обедает в институте? — он озадаченно посмотрел на меня. — Собирает на меня компромат? Прислушивается к разговорам? Понятно, хочет накатать на меня телегу в министерство. Я ведь так и не пошел ей навстречу, помните, я вам рассказывал о подходах к ней, как к подходам к штанге... вот она и... Кто ее пропустил на территорию режимного предприятия?

— Кто-кто, конечно, Потапов: вероятно, хотел вам услужить.

— Как же — услужить! Он меня терпеть не может. Я знаю, какие слухи он всегда распространял у меня за спиной. Представляю, что он ей обо мне наговорил!

Он встал и зашагал по кабинету.

— Вы знаете, — остановился он около меня, — на днях со мной приключилась пре-скверная история. Ехал я в автобусе...

— Началу истории не хватает достоверности, — перебил я его.

— Ну хорошо, ехал я в метро...

— Еще хуже.

— Ну на чем-то же я должен был ехать, черт бы вас подрал! Тут важнее всего главная мысль! И без общественного транспорта не обойтись, без автобуса или электропоезда не уложишь эту историю в прокрустово ложе... в прокрустово ложе достоверности. Короче, мне уступила место юная девушка, на которую я уставился. Очень хорошенькая. Вежливая такая... И это было самое обидное.

— Не вы первый. Все стареющие вертопрахи через это проходят.

— Значит, и вас скоро это ждет! — он просверлил меня ненавидящим взглядом. Потом взгляд его помягчел, он подошел и положил мне руку на плечо. — Мне очень хочется сегодня напиться.

— С вами это стало случаться слишком часто.

— Не чаще, чем прежде! Мне надо прочистить мозги. Алкоголь для этих целей подходит как нельзя лучше. Мозговые извилины распрямляются, и открываются умствен-

ные шлюзы: мысли свободно текут, текут... словом, бурно текут, куда надо. Приглашаю вас на домашнюю вечеринку. Клары не будет, она соскучилась по даче. И переваривать борщ, по всей вероятности, отправится в Селятино. На моем служебном авто. А я, значит, трясь в автобусе! Она там на мои жалкие копейки капитально реконструировала дачу, надстроила еще три этажа, опять же колонны... Тьфу, уродство! Шляя под хвост! Как только почуяла запах денег, моча мозги пробила.

— Не давайте ей денег.

— Я и хотел не давать, но она отбирает силой. Кроме того, она наняла слугу и повара... Единственно, чего мне удалось добиться, это их рассчитать. Ах, как мне хочется напиться! Мой ученик, который уже десять лет живет в Нанте, да вы его знаете, Саша Рубинов... он прислал мне посылку — две литровые бутылки «Мартеля», думаю, нам хватит. Кстати, знаете, почему я женился на Кларе Ивановне? Как-то перед сном я сидел в спальне на кровати, медленно раздевался и размышлял о своем холостяцком житье-бытье. И тут я увидел себя в зеркале: сидит одинокий мужик и, забывшись, с отрешенным видом нюхает грязный носок. Зрелище отвратительное!

Через полчаса мы с Боровским сидели за обеденным столом в его квартире.

Боровский нацепил очки и торжественным тоном принялся читать письмо, приложенное к посылке:

— «Дорогой и любимый Учитель! Уверен, коньяк вам понравится. Это нечто божественное! Вкус эlegantный и изысканный — сложный, с нотками смородины и привкусом фундука, с ореховыми оттенками и тонами сухофруктов. Послевкусие исключительно длительное».

— Посмотрим, посмотрим, насколько оно длительное, — произнес он напевно, отвинчивая пробку.

После каждой рюмки Боровский гурмански крутил головой и восторгался:

— Действительно, прав ученик, какое послевкусие! Какое длительное! И какое исключительное! Какие нотки! Какой эlegantный и изысканный вкус! Какие смородины! Какие фундуки! Чтобы хорошенько прочистить мозги, необходимо хорошенько набраться. Жаль, что он прислал так мало.

Минут пять он, опустив голову, сосредоточенно молчал. Потом вдруг резко дернулся и вскричал:

— Мы спасены! Кармазин!

Мне послышалось — Кармазин. Интересно, каким образом, подумал я, давно почивший классик может нас осчастливить?

— Кармазин! — восторженно повторил Боровский. Слово звучало как заклинание. Он выбежал из комнаты и через мгновение вернулся. Лицо его сияло.

— Эврика! — вскрикнул он. В руках у него были две синие бутылочки. — Непочатые! Там до девяноста процентов чистого спирта!

Я взял одну из бутылочек и углубился в изучение этикетки:

— Кармазин. Средство для ращения волос, — прочитал я ошеломленно.

...Утром Боровский, мучаясь головной болью и мечтая о пиве, тусклым голосом говорил:

— Вот и прочистили мозги. Начали-то мы хорошо... все-таки «Мартель». Какой аромат! Какие смородины! Какие фундуки! Какой эlegantный и изысканный вкус! Какое очаровательное послевкусие! И какое длительное! Да... — он поскреб ногтями шершавый подбородок и задумчиво повторил: — Начали мы хорошо: по-европейски — «Мартелем». Очень хорошо! Да и закончили недурно: по-русски — кармазином... Должен признать, — констатировал он, тяжело рыгая, — а послевкусие у этого окаян-

ного кармазина будет, пожалуй, поосновательней, чем у «Мартеля»! Господи, как же трещит голова!

— Вместо того чтобы травить себя кармазином, позвонили бы в какой-нибудь ночной магазин, нам бы через четверть часа доставили на дом тот же «Мартель». Правда, втрое дороже. Зато голова бы не болела. Экономите? Экономите на здоровье друзей?

— Вы ничего не понимаете. Мне нужна была встряска. А встряску обеспечивают контрасты. А какая встряска от одного «Мартеля»?

У меня тоже страшно болела голова. Я раздумывал, что мне сейчас подойдет лучше — пиво или капельки доктора Радлова? Кстати, хорошо бы проверить капельки у нас в лаборатории. Интересно, что там намешано.

* * *

— Костик объявился, — по-змеиному улыбаясь, сообщила мне Люба. — Его заметили в кафетерии с одной особой. Да вы ее помните, она была когда-то помощницей Крылова...

— Кто пропустил эту фурию на территорию института? — возмутился я.

— Да у нее, наверно, пропуск есть еще с тех времен, — она посмотрела на меня все с той же змеиной улыбкой, — когда она была вашей любовницей...

— Люба!

— А что я такого сказала? Илья Ильич, я Костика люблю. Подскажите, что мне делать? Я жажду мести! — сказала она, сжимая лицо ладонями. — Я так зла, что готова сделать ему какую-нибудь гадость.

— Люба, вы на работе, не забывайтесь, — одернул ее я. — Найдите Костика и приведите его ко мне. Срочно!

Костик сидит напротив меня и прихлебывает кофе.

— Без сахара, без печенья.... — бурчит он недовольно. — И холодный.

— Это вам месть за измену.

Он грустно усмехнулся.

— С помощниками Покорного у меня не выгорело. Я бился не на страх, а на совесть. Пришлось даже переспать с одной уродиной... Стоят насмерть. Ничего не говорят, а может, ничего не знают. Зато у меня есть одно соображение... Оно касается ремедиума... — Костик замолчал. Я хорошо изучил Костика. Он, видно, раздумывает, с чего начать. Пусть раздумывает.

Он отставил чашку и подошел к окну.

— А что если нам самим заняться всем этим?

— Костик, выражайтесь ясней!

— Известная вам Тамара Владимировна сделала мне интересное предложение.

— Откуда вы ее знаете?

— О-о, мы знакомы давно. Очень давно.

Значит, и Костик был в числе тех, с кем, наряду с Боровским, прелестная Тамара Владимировна наставляла рога мне, перед тем как выйти замуж в первый раз. Сколько лет было тогда Костику? Наверно, не больше двадцати.

— И что же она вам предложила? — спросил я, уже зная, каким будет ответ.

— Существует такая организация...

— Костик, короче! — прикрикнул я.

— Я думаю, вы и так все знаете... Словом, я подумал, может быть, попытаться их, этих сумасшедших, как-то перехитрить...

— Костик, не будьте идиотом!

Если бы в этот момент мне не позвонил генерал Рыбин, не знаю, что бы я еще наговорил Костику.

Глава 18

— Я пригласил вас для откровенного разговора, — сказал генерал. Перед этим он молчал минут пять, с сосредоточенным видом перекладывая листы бумаги справа налево и словно выискивая некие укромные уголки, куда спряталась его, генерала, откровенность.

У меня было время, чтобы осмотреть генеральский кабинет. Портрет Феликса Дзержинского — как раз напротив окна, чтобы были лучше видны глаза, говорящие о благородстве, непреклонности и в то же время мягкости характера Железного Феликса. Хорошо бы поместить рядом портрет знаменитого поэта, уничтоженного по приказу этого добродушного интеллигента с эспаньолкой. Массивный стол, стенные деревянные панели, кожаные кресла, ковровая дорожка. Мрачно. Как можно высидеть здесь с девяти утра до шести вечера, и так годами? Я впервые взглянул на Рыбина с уважением.

Генерал проследил за моим взглядом.

— Скоро, — он вздохнул, — здесь будет другой хозяин.

Я вопросительно посмотрел на него.

— Собираюсь на пенсию, — пояснил он. — Давайте это отметим.

Он извлек из сейфа бутылку коньяка и налил в два стакана. Мы чокнулись и выпили.

— Буду выращивать розы на даче и гнать самогон, — сказал он грустно.

— Не самое плохое занятие.

Генерал вздохнул.

— Давайте лучше еще выпьем.

— С удовольствием.

— Нам известно, что Организация подбирается к вам. Положение дел таково, что без помощника вам не обойтись. Операция будет долгой и напряженной. Надо всех фармазонов, всех этих Кляк, Мамынь и прочих, извести под корень, пока они весь мир с ума не свели.

В кабинет без стука вошел человек со странной для этих стен внешностью: очки надвинуты на кончик носа, маленькая голова с тусклыми проплешинами, сгорбленная фигура и, как следствие, впалая грудь — все выдавало в нем человека, которому редко везет. Не хватало только перхоти на отложном воротничке. Субъекта, более похожего на патологического неудачника, мне встречать не приходилось.

— Знакомьтесь, один из лучших наших сотрудников, — пророкотал Рыбин, заметив, что я проявляю интерес к внешности плешивого. — Звать его... — генерал заглянул в бумаги, лежащие у него на столе, — звать-ся он будет с сегодняшнего дня Никодимовым Александром Леонидовичем. Вы пока тут побеседуйте, а я загляну кое-куда, — и генерал, поднявшись, быстро вышел из кабинета в маленькую дверь, которую легко было принять за дверцу платяного шкафа.

— Для начала, — сказал Никодимов, не поднимая глаз, — вы возьмете меня на работу.

— В каком качестве?

— В качестве руководителя одной из лабораторий.

Я не сдержал удивления.

— Но позвольте, чтобы руководить научной лабораторией, необходимо иметь...

— Неужели вы думаете, уважаемый Илья Ильич, что мы отправим на ответственное задание человека без специальных знаний? — гневно перебил меня голос генерала, который шел, казалось, из преисподней. Я понял, что в этой комнате и стены говорят. — К вашему сведению, у нас еще остались настоящие профессионалы, а Александр Леонидович с отличием окончил Пастеровский институт в Вене, имеет степень доктора медицинских наук и уж как-нибудь справится с какой-то там вашей говенной лабораторией.

Я уже открыл рот, чтобы напомнить генералу, что Пастеровский институт окончить никак нельзя, поскольку это заведение не учебное, а сугубо научное, но решил, что вступить в пререкания со спецслужбами все равно что драться в темном переулке с дюжиной вооруженных грабителей.

Следуя указаниям генерала, я принял на работу Александра Леонидовича Никодимова, доктора медицинских наук, как было записано в его безупречных документах, на должность заведующего лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии. И что самое удивительное, Никодимов очень быстро вписался в ряды научных работников и освоился на новом месте. Видно, прав был Рыбин, когда утверждал, что в органах еще не перевелись крепкие профессионалы.

Оставшись на ночь в лаборатории, мы с Никодимовым и Костиком испытали действие ремедиума на многострадальной Машке. Инъекция — и уже через минуту поведение крысы резко изменилось. Бусинки глаз загорелись, словно в них вставили угольки. Крыса издала громкий писк и набросилась на металлический прут клетки, пытаясь перегрызть его зубами. При этом из ее рта полилась слюна розового цвета. Еще спустя минуту она опрокинулась на спину и забилась в конвульсиях. Мы следили за эволюциями Машки, как за полетом гимнастов под куполом цирка. В последний раз дернувшись, Машка замерла.

— Окочурилась, сволочуга, — с удовлетворением заметил Никодимов.

— Что за выражения, коллега! — возмутился я.

— А как я должен говорить? — проворчал он. — Испустила дух? Опочила? Приказала долго жить? Угасла, отошла в лучший мир? Так что с ней, подохла?

— Не думаю, глаза... вон как сверкают... — Костик записывал опыт, наговаривая на диктофон. — Доза великовата. Машке совсем плохо... Но ничего, сейчас мы ее оздоровим.

И он впрыснул Машке новую инъекцию, которая отличалась от первой лишь тридцать седьмым компонентом. Потянулись минуты томительного ожидания. И вот крыса шевельнула усами, перевернулась на бок, неуверенно встала на лапки и укоризненно посмотрела на своего мучителя.

— Ну вот, барышня, ты снова в строю, — удовлетворенно сказал Костик и повернулся ко мне. — Илья, Ильич, а не изготовить ли нам опытную партию в виде таблеток или капсул?

Когда я понял, что Костик, с его талантом исследователя, рано или поздно подберется к тайне ремедиума, я ему кое-что поведал. Не все, конечно, но многое. Пусть Костик, думал я, вступит в контакт со страшными приятелями Тамары Владимировны. Я любил Костика, но это не значило, что я не готов им пожертвовать. Разумеется, я не собирался безропотно отдавать Костика на растерзание сумасшедшим анархистам, я чувствовал, что, используя Костика в качестве «подсадной утки», я из укрытия со всеми удобствами буду наблюдать за действиями наших опасных оппонентов. Я был уверен, что мне удастся их перехитрить. Мне оставалось ждать, когда они совершат ошибку.

Я понимал, что могу сам ошибиться и расплата за ошибку может оказаться тяжелой не только для Костика, но и для меня. Но у меня не было другого решения.

Кстати, лабораторные исследования показали, что кармазин, как и говорил Боровский, действительно состоит на девяносто процентов из этилового спирта, остальное — какие-то синтетические добавки, абсолютно безвредные. А вот в капельках доктора Радлова содержались в незначительных дозах наркотические анальгетики и еще что-то, что требовало дополнительных исследований.

Глава 19

Прошла неделя.

Восемь часов вечера. Телефонный звонок.

— Никакого вашего участия... — услышал я. — Сидите и не рыпайтесь. В противном случае вас ждут крупные неприятности.

Предупреждал меня Радлов, что недалек тот день, когда я начну баловаться бранной лексикой. И вот этот день настал. Откуда взялась эта длинная, хорошо обдуманная тирада, я без труда отлепил ее от языка, словно всю жизнь только тем и занимался, что матерился направо и налево. Уже примерно на середине я понял, что меня не слушают. Но я так разошелся, что не мог остановиться, и с удовольствием договорил ругательство до конца.

Прошла еще неделя. Стук в дверь. Я прильнул к глазку. Никого. Я открыл дверь и обнаружил на кафельном полу коробочку, перевязанную красной лентой. Вспомнились гангстерские фильмы. Дрожащими руками я развязал ленту... В коробке лежало кольцо с гривастым львом. Я опустил на пол.

И тут же мне позвонили на мобильник.

— В следующий раз пришем пальчик, — услышал я вежливый голос. — Завтра, ровно в восемнадцать ноль-ноль вы должны быть на Покровском бульваре, возле будки, где продаются пироги, — засмеялся голос. — Шучу. Сядете на скамейку рядом с переходом через трамвайную линию и будете ждать.

— Чего ждать?

В ответ молчание.

Я минут пять переваривал услышанное.

В другом случае я сказал бы, что все это из дурного сна или из детективного романа. Но тут была реальная жизнь, а в ней, я прекрасно знал это, все всегда жестко, наждачно, холодно и грубо. У меня сразу очень сильно разболелась голова.

Я не знал, как мне поступить. Позвонить, что ли, генералу? Да, надо позвонить. Но вместо этого я, мало что соображая, приложился к пузырьку с капельками доктора Радлова. В голове сразу приятно зашумело: казалось, под черепной коробкой, омывая и распрямляя мозговые извилины, разлилось теплое молоко.

Возникла мысль, показавшаяся мне естественной и закономерной, — вооружиться книгой Викторина Сергеевича Дерябина «Чувства, влечения, эмоции». Да-да, она мне поможет! В ней точно есть подсказка. Я нашел книгу и лег в постель. А как же Лиза и ее пальчик, похожий на сосиску? Ничего, подумал я, вот почитаю, а там решение припожалует само собой.

«Симптомы, — читал я, зевая, — например, боль и нарушения сна, ощущения пещали, страха или тревоги, нарушение памяти...»

Глаза слипались, но я, как заведенный, продолжал читать.

«...Пациенту кажется, что он видит или слышит то, что не видят и не слышат другие люди...» Тут я еще раз зевнул и закрыл глаза, и передо мной замелькали картинки...

...Из тьмы выплыли страдающие глаза моего давно умершего отца. Рядом стояла мать, которая кивала, кивала... и что-то шептала бледными губами.

Потом появилась физиономия неизвестной твари, хихикающая, гнусная, как у мартышки в зоопарке.

Потом — плохо пробритый кадык с крупными каплями густеющей крови, а рядом — лезвие, аккуратно и чисто вытертое вафельным полотенцем.

Захватанное пальцами зеркало в ванной, спутанные волосы на полу, паутина на потолке и быстро кружащийся по ней паучок, неумолимостью напоминающий кредитора. А в зеркале — мое перекошенное от ужаса лицо. На небритых щеках засохшие ручейки пота и мутные бусинки слез, которые выжали из себя бессмысленные глаза. На влажной дрожащей ладони часы, показывающие полночь, которая давно наступила.

Тусклая комната, окно давно не мытое, на подоконнике пепельница с горой окурков, по стеклу дождь барабанит.

За окном — голая ветка, мелко дрожащая на холодном ветру. Где-то я ее уже видел. Во сне? Нет-нет, не во сне. Да-да... ветка, ветка была, на ней притулилась голубка, высиживавшая птенцов... Та же ветка, черная, одинокая... только голубки нет, а мысли — все те же. И свет за окном серый. Это значит, что все, что находится там, за окном, от черной ветки, сотрясаемой от дрожи, до Атлантического океана, Скалистых гор, Сахары, непролазных болот Амазонии, лондонского Тауэра, Большого Каменного моста, капельки кровавой мочи на стенке писсуара в туалете парижского кафе, титановой плевательницы перед входом в Хрустальную пещеру, гниющего распятия на Лысой горе, нечистот, с плачем и грохотом низвергающихся в канализационный слив, истрепанной книги, раскрытой на слове «проклятие», — все серо, серо, серо.

И все сотрясается ледяной дрожью, от которой стынет кровь в жилах и замирает сознание. Время остановилось. И я вместе с ним, с этим проклятым временем, отравленным ложью и мертвечиной.

За стеной надсадный кашель какого-то страдающего негодяя. Кровать, смятые простыни с грубо заштопанными прорехами. Колючее одеяло вывалилось из пододеяльника, одним концом свесилось и валяется в пыли на вздыбленном от сырости паркете.

Рядом кто-то дышит. Дыхание смрадное, а каким оно еще может быть?.. Дыхание временами переходит в храп, а потом и — в хрип, который с нетерпеливым ожиданием принимаешь за предсмертный. А над головой — свисающая с крюка веревка с петлей вместо люстры. И холод, холод, холод...

В печной трубе воеет ветер. Страшно, страшно! Господи, как страшно!

...Я бью какого-то неизвестного по лицу наотмашь, так сильно, что хрустят и чуть не ломаются пальцы, ночь взрывается криком, страшный звук удара головы о водосточную трубу, а потом о камни мостовой. Звук глухой, мертвый. Словно раскололся орех размером с арбуз. Всхлип, оплывающий как свеча, и тут же — жалкий предсмертный стон. И окровавленный рот, изрыгающий последний плевок.

Я бегу во мраке без оглядки, наугад. Бегу, слыша погоню. Топочут страшными сапогами. Догоняют...

Я вламываюсь в какие-то ворота, закрываю их за собой и, пробежав несколько метров, падаю без сил у покосившейся металлической решетки. И через мгновение засыпаю.

Просыпаюсь, не зная, как долго спал, вижу, как сквозь морозный утренний туман на меня наваливаются деревянные и каменные кресты, чугунные ограды и гранитные надгробия... Я начинаю что-то с ужасом соображать, понимаю, что очутился на кладбище и спал возле могил, привалившись скулой к железному пруту. Одна нога, с завернувшейся штаниной, лежит в подмерзшей грязной луже, другую я поджал под себя, как ребенок, которому не от кого ждать помощи.

...Я бреду по ночному городу, по пустынной улице. Окна темны. Слякоть, под слякотью — грязный лед. Поскользнувшись, падаю. Всем телом, плашмя. Ударяюсь коленями и лицом. Мокро от крови. Но не больно. Почему не больно и почему я не плачу? Действительно, зачем плакать, если не больно? Зачем?..

Когда все вокруг мертво и ото всего исходит запах тлена, неудержимо тянет в царство мертвых.

Крюк с веревкой. Петля повторяет контуры шеи. Но мертвеца нет. Значит, предусмотрено вынут. Спасибо за предупредительность, за заботу. Все на потоке, ждут следующего. А что если следующий — это я?

Обои отклеились и свисают лохмотьями, как кожа больного паршой. А в ночи вибрирует и бьет в уши гул церковного колокола; колокол гремит, как набат, возвещающий конец света или начало нового времени, стократ страшнее, безумнее и грязнее прежнего. Время встает на горизонте вместе с тусклым солнцем, пораженным болезнями еще в чреве умирающей Вселенной.

Время колокольным перезвоном возвещает беду, оно специально для меня играет траурный гимн, укоряя за то, что я единственный, кому посчастливилось уцелеть в схватке за право думать.

...Подушка, пропитавшаяся слезами и водкой, вытекшей из сгнившей ротовой полости. Рядом пустота. Пусто даже тогда, когда рядом кто-то храпит и стонет во сне.

...Сотни, тысячи, миллионы похожих дней и ночей. Мутные воспоминания, стыд и бесстыдство... Познать самого себя? Заглянуть в бездну? Зачем? Чтобы ужаснуться?.. Господи, объясни мне, зачем я страдаю?..

...Я медленно пролетаю над заснеженными горными вершинами, фьордами, на дне которых извиваются стальные лезвия рек.

Подо мной сверкающий сапфировым огнем океан, в котором резвятся миллионы китов и еще каких-то странных не то рыб, не то сказочных чудищ с рогатыми головами.

— Там, — слышу я громовой голос, — там никогда не бывает штормов, ураганов и тайфунов. Там — всегда штиль, покой и правильный порядок. В глубинах вечного покоя, на дне бессмертного океана лежит конечная истина.

Зазвучала музыка, прекрасней которой я никогда не слышал. Словно тысячи органов разом в отдалении заиграли песнь всеобщей любви. Им вторили миллионы скрипок, альтов, виолончелей и контрабасов.

— Это небесная музыка, — сказал тот же голос.

И тут подо мной возник громадный город, над улицами, площадями и переулками которого несчетными стаями на разной высоте летали крылатые создания, очень похожие на людей.

Но вот пошли предместья с красивыми одинаковыми домами, окруженными палисадниками, потом и предместья остались позади, и подо мной вырос могучий синий лес.

Я увидел фантастической красоты поляну, обрамленную огромными огненно-красными цветами.

Поляна стала быстро приближаться, и я, приземлившись, почти утонул в изумрудном море, сотканном из шелковой травы и бархатистых цветов. С хрустальным звоном во все стороны брызнули капли росы.

От волшебных запахов у меня счастливо закружилась голова. Я поднял голову и не вдалеке увидел блистающую синь озера, по поверхности которого скользила большая черная ладья под черным же парусом. Кто-то умело правил ладьей, и та медленно приближалась к берегу.

На противоположной стороне озера высилась громада леса, полыхавшего золотым осенним огнем.

Все, что видели мои глаза, было залито чарующим сиянием, от которого сладко щемило сердце.

Я задрал голову, пытаюсь определить, откуда исходит сияние.

Свет водопадом обрушился на меня, и я едва не ослеп. Я вскрикнул.

Голос пояснил:

— Это не свет, это... совсем другое...

Я понимающе закивал головой и вновь посмотрел на озеро.

Я понял, кто находится в ладье...

Я приподнялся.

— Иди, раб Божий, — велел голос, — иди, она тебя давно ждет... Но учти, если она тебя простит, тебе назад хода не будет.

— Она простит, я знаю... — прошептал я.

Легкая до этого поступь вдруг стала невыносимо тяжелой, словно вместо костей в мои ноги вставили чугунные подпорки. То, что я только что видел перед собой, было, конечно, прекрасно, но мне хотелось еще пожить в том мире, в котором я родился.

Силы жизни тянули меня обратно в мир, где страх перед завтрашним днем — такая же привычная вещь, как бритье, выгул собаки и чтение в клозете.

Я решил вернуться в мир тотального невежества, в мир всеобщего обмана, в мир вопросов без ответов. Там бы я почувствовал себя уверенней, нежели в мире порядка, покоя, неестественно синих озер, малахитовых трав и бескрайнего океана, в котором утоплена конечная истина.

Я помахал фигуре в ладье рукой.

— Нет, еще не время! — крикнул я. И трудно сказать, кому я кричал. То ли той, что дожидалась меня в ладье, то ли самому себе.

Я проснулся. Нацедил капелек доктора Радлова. Потом, шатаясь, побрел на кухню, извлек из холодильника бутылку шампанского. Пил прямо из горлышка, осторожно наклоняя бутылку, мелкими глотками, чтобы не расплескать.

Шампанское в сочетании с капельками подействовало, и я снова забылся сном.

О, как ужасен был этот мой второй сон! Если бы моя жизнь хотя бы в малой степени была похожа на это мерзостное сновидение, я не стал бы медлить с мылом и веревкой.

Греховный сон, похожий на жизнь после смерти. Сон сопровождался волшебной дивной музыкой, которая входила в мое сознание и наполняла меня уверенностью, что порок есть главный движитель жизни.

Мне снились обнаженные тела, извивистые и ритмичные движения которых были полны сладостной неги и бесстыдной грациозности.

Рядом с ними, отвратительно визжа, прыгали и резвились некие уродливые создания, волосатые, грязные, безглазые, с черными потеками на голых телах. Они силились слиться с прекрасными телами, и некоторым это удавалось.

Зрелище завораживало. Казалось, я присутствую на оргии, организованной в Аду.

Во сне я закричал, как смертельно раненный зверь. Я почувствовал, что если сию же секунду не овладею женщиной — какой угодно, хоть молодой, хоть старой, — то непреодолимое желание разопрет меня изнутри и я умру страшной смертью, успев перед смертным часом испытать такие муки, против которых страдания Савонаролы сущая безделица.

Я набросился на какое-то чудовище неопределенного пола. Чудовище все время меняло облик, от него пахло чем-то с ума сводящим, вроде раскаленной спермы и окарины.. У меня от звериного желания голова шла кругом, я уже ничего не соображал, для меня главным и единственно ценным становилось безумное желание немедленного соития. Я знал, что если промедлю хотя бы мгновение, то умру от бешенства...

И тут, слава богу, я проснулся. Было утро.

Я легко поднялся и отправился в ванную бриться. За ночь мое лицо увеличилось в размерах, по меньшей мере, вдвое. Меня это не удивило и не очень огорчило. Кроме того, щеки, подбородок и шея покрылись глубокими морщинами, похожими на кожные складки, какие бывают у собак породы шарпей. Что ж, буду жить с таким лицом. Другие же живут. Чтобы тщательно все это пробрить, все эти рытвины, овраги, ухабы и канавы, мне понадобилось полчаса.

Я наполнил ванну очень горячей водой. Пофыркивая и повизгивая, погрузился в нее. Все это время я прихлебывал из бутылки, посасывал капельки доктора Радлова, листал книгу Дерябина «Чувства, влечения, эмоции» и курил сигару. Я находился в таком оживлении, что мне приходилось все время себя сдерживать. Я прекрасно понимал, что это состояние весьма опасно. И меня это не печалило. Мне надоело всего опасаться, мне осточертело бояться собственной тени, мне надоело состояние постоянного беспокойства и страха.

С одной стороны, мысли мои были ясны, четки, чисты и свежи, как листва, омытая майским дождем, а с другой — я находился в одном-единственном шаге от помешательства. И от меня зависело, сделаю я этот шаг сам, или кто-то меня к нему принудит. Провались все пропадом! Я опять прильнул к капелькам проклятого доктора.

Мои движения обрели обманчивую легкость, мое тело казалось мне невесомым. Наверно, поэтому я, не рассчитав силы, выронил из рук флакон мужских духов, который на кафельном полу ванной разлетелся на тысячи осколков. Я так хохотал, что у меня свело шею.

Но что-то тревожило меня. Какая-то мысль. Какая? Ах да, эти капельки...

Выйдя из ванной, я не нашел ничего лучше, как позвонить Боровскому. Господи, зачем я ему звоню?! Я бросил трубку. И тут же набрал номер Саши, девушки с ангельским звездным взглядом. Я был уверен, что она меня поймет и оценит мое восторженное настроение. Когда я набирал ее номер, перед моими глазами стоял страшный лик волосатого чудовища с грязными ногами-лапами: я все еще находился под впечатлением сумасшедших снов. Я почему-то полагал, что если я поговорю с Сашей, это избавит меня от мерзких видений, и я в обнимку с прекрасной Сашей воспарю в поднебесье. Я не боялся, что она откажет мне, я был уверен, что наша встреча — это судьба, начало новой жизни для нее и для меня. Меня не беспокоило, что она может меня из-за разросшегося в разные стороны лица не узнать. Если любит, узнает. Ведь я так хорошо побрился...

* * *

...Я не знал, сколько прошло времени. Не знал, что на дворе — день или ночь. Рядом сидела Саша и пустыми глазами смотрела мимо меня. Потом она вдруг преобразилась, и ее глаза стали прежними, звездными — такими, какими были при нашей первой встрече.

— Вот вы и очнулись, — сказала она и чуть слышно засмеялась. Серебряный колокольчик возвращал меня к жизни. Я повел глазами по сторонам и обнаружил, что я дома, что лежу на кровати в своей спальне. Ощупал лицо. Небрит, но в остальном лицо меня удовлетворило: никаких рытвин и канав.

— Входная дверь была не заперта, — сказала она. — Если бы не это, неизвестно, на каком свете вы бы сейчас находились.

Я посмотрел на часы. И тут я вспомнил, что мне сегодня предстоит в восемнадцать ноль-ноль быть на Покровском бульваре. В запасе было всего пятнадцать минут.

— Простите, Саша, мне надо одеться. Я ненадолго отлучусь. А вы оставайтесь, — поспешно сказал я, заметив, что она поднялась. — Я очень прошу вас об этом... — я осторожно взял ее за руку, — дороже вас у меня нет никого... — я не ожидал, что всхлипну.

Я быстро оделся и, несмотря на протесты Саши, выбежал из дома...

Глава 20

Напротив меня, на бульваре, окруженные зеваками, двое шахматистов весьма и весьма почтенных лет сосредоточенно сражались за победу. Фигуры на доске сияли ярче солнца. И в этом не было ничего удивительного: ведь сделаны они были из платины и прозрачного черного хрусталя.

Каждый ход обдумывался тщательно и подолгу. Дедам бы поторопиться, они, видно, забыли, что бег времени неотвратим, и мне очень хотелось им об этом напомнить. Один, маленький старичок в шляпе с выгнутыми полями и красным пиратским пером, судя по сдерживаемой снисходительной улыбке, кривившей его губы, выигрывал. Его соперник, тоже маленький старичок, тоже в шляпе и тоже с пером, но синим, заметно нервничал, громко сопел и шевелил пальцами над доской с поредевшими фигурами. Я пригляделся и увидел, что сидят старички не на скамейке, а на диване. И я сидел на диване. Таком же, как у меня дома. На деревянном лакированном подлокотнике я увидел глубоко прорезанную надпись: «Вова + Маша = любовь». И вокруг были сплошные диваны, и на них сидели некие гражданские лица, и каждый занимался своим делом: кто-то листал газеты, кто-то дремал, кто-то уткнулся в смартфон, кто-то обнимал подругу.

Вдруг у меня сильно заболела левая часть груди. Сердце забило с пугающей скоростью. Мне стало очень страшно. Наверно, инфаркт. Я знал, что могу умереть в любую минуту. Могу умереть прямо сейчас и здесь, на этом дурацком диване. А боль все усиливалась, разрасталась, она переползла на спину, потом — на правую часть груди и затылок. Воздуха не хватало.

Я сидел, стараясь унять быстрое рваное дыхание, и с чувством, близким к панике, прислушивался к своему борющемуся из последних сил сердцу и смотрел на окурки под ногами. На один окурочек напозл дождевой червь и, став похожим на ржавый гвоздь, замер. Видно, раздумывал, что ему делать: то ли подохнуть вместе со мной, то ли ползти дальше.

Я перевел взгляд направо и в конце бульвара, над кронами деревьев, увидел парящую в потемневшем небе далекую высотку с сияющим золотым шпилем. Помнится, мне рассказывали, что там, под облаками, то ли на двадцать шестом, то ли на двадцать седьмом этаже, совсем еще недавно жил какой-то северокавказский весельчак, который повадился жарить на балконе шашлыки из белуги. Дым поднимался до небес, жирная копоть оседала повсюду — на соседних балконах и даже на шпиле, увенчанном звездой с серпом и молотом. Налопавшись шашлыков, кавказец принимался распевать оперные арии, да так громко, что его слышали аж на противоположном берегу Москвы-реки. Возмущенные соседи направляли к нему депутацию за депутатией. Ничего не помогало, он продолжал реветь, как пароходная сирена. Соседи обратились в суд, и громкоголосому любителю шашлыков пришлось перекочевывать в Ниццу. А в освободившуюся квартиру въехал известный депутат с румяными щеками и рачьими глазами. Как раз тот, которому я когда-то набил морду в ресторане.

На диван, метрах в пятидесяти от меня, стараясь не смотреть по сторонам, присели два человека, очень похожие друг на друга. Охрана, догадался я.

Я в который раз посмотрел на часы. Семь часов. Повизгивая железом о железо, из-за поворота вывернул трамвай. Я закрыл глаза. Хорошо, что дома меня ожидает Саша. Очень хорошо. И тут на меня навалились несущие покой знакомые с детства городские шумы. Сердце уняло свой рваный бег. Мне стало легче дышать.

Волосатые ноги, о которых я все равно неотступно думал, меня уже не пугали. Но я все еще чувствовал мерзкую вонь, мне даже стало казаться, что меня обдаёт жаром от печи, в которой сжигают прокисшие лохмотья бездомного. Но мне было на все наплевать, и на это в том числе. Покой разливался по сердцу. Покровский бульвар. Саша, глаза-звездочки. Тихий смех. Она сидит у окна и ждет меня. Я не был одинок. Надо бы уговорить Лизу переехать ко мне.

Я почувствовал, как подо мной задрожали пружины: кто-то опустился на диван рядом со мной.

— За опоздание извините, — услышал я. Вежливый приятный баритон. Я открыл глаза и повернул голову в сторону незнакомца. — Ехали издалека, повсюду пробки. Как вас зовут, я знаю. Меня же прошу без стеснения называть Клякой. Я не обижусь.

Я не торопясь осмотрел обладателя баритона. Внешность, располагающая к себе. Лицо холеное, держится уверенно. Одет необычно: в черную пару, на ногах лакированные остроносые штиблеты, на голове черный же цилиндр. Станный наряд. Но никто на бульваре на это не обратил внимания. Подошли еще какие-то двое. Тоже в черном. И тоже в цилиндрах. И на этих никто не смотрит. Не обращают внимания, понял я, потому что принимают их за уличных артистов.

— Я хотел с вами поговорить, — сказал первый. — Очное общение, надеюсь, будет полезно и мне, и вам. Когда припрет, даже враги встречаются за столом переговоров и жмут друг другу руки.

— Начнем с главного. Когда вы отпустите мою дочь? — я был намерен сразу брать быка за рога.

— Вы прекрасно знаете когда.

— Вы хоть понимаете, о чем вы у меня просите? Эта штука страшнее водородной бомбы...

— Вот именно, — оживился он, — именно страшнее.

— Как вы, судя по всему, интеллигентный человек, можете заниматься всей этой мерзостью? Неужели в вас не осталось ничего человеческого?

— Лирика, все это лирика, — усталым голосом сказал он. Он посмотрел на своих приятелей, те, сняв цилиндры и держа их на отлете, дружно закивали.

— Лирика, лирика, — подтвердили они.

— Как видите, — сказал он, — широкие народные массы меня поддерживают. Кстати, позвольте вам представить моих верных соратников Мамыню и Тибосика. Пусть вас не удивляют наши имена. Мы сознательно отрешились от своего прошлого, оно нас тяготит. Мы целиком посвятили себя будущему. Итак, лирика...

— Понимаю, для вас это лирика. Чужая жизнь, покой других людей — это лирика. Вы, видимо, давно уже все для себя решили, вы давно задавили в себе все сомнения, у вас, теперешнего, не возникает разногласий со своей совестью, если она у вас вообще когда-то была.

— Лирика, лирика, лирика.

— Мне хочется докопаться до мотивов... — я старался уловить его взгляд.

— Нет никаких мотивов.

— Так не бывает.

— Ну, хорошо. Есть мотив, есть. Даже не мотив, а идея, даже больше — миссия. Есть понимание того, что кучка мерзавцев управляет массами...

— Так было во все времена. Но это не мешало большинству жить полнокровной жизнью...

— Дидро сказал, что вся история человечества — это история угнетения огромных людских масс ничтожной кучкой мошенников.

— А вы и вправду интеллигентный человек!

— Мошенникам безразлично, под какими хоругвями промышлять разбоем. Деспотия, тоталитаризм, демократия — им все едино.

— Вы забыли об анархии, — сказал я.

— Нет-нет, анархия как раз и противостоит всему этому. Наша цель, наша цель... — Я продолжал смотреть ему в глаза. И наконец-то увидел сумасшедшинку, ненормальный блеск! — Наша цель состоит в том, чтобы со всем этим покончить и выполнить свою великую миссию: рубануть прогнившее человечество под корень. Сведем всех с ума, — мой собеседник увлекался все больше и больше, голос его обретал убедительность и страстность, — исчезнут смыслы, идеи, история, вернутся пещерные времена, времена каменных топоров и шалашей, покрытых звериными шкурами. Потом исчезнет и это, и на земле останутся только клопы да тараканы, существа, как известно, бессмертные. Наше политическое и идеологическое кредо — это уничтожение человечества, а в идеале — вообще всей живой жизни на земле, превращение всего сущего в Ничто. Вернее, в Хаос, какой был до рождения Вселенной. Последним словом новой Библии станет слово «нет». Чем плоха идея?

— Но это же безумие!

— Конечно, безумие, я счастлив, что вы это поняли!

— Но это же аморально, бесчеловечно, мерзко! И вообще, зачем вам все это надо? Кто был первый, кому в голову пришла эта дикая мысль?

— Уже сейчас таких, как мы, миллионы. Человечество не подлежит исправлению, оно уже много столетий неуклонно катится к космической выгребной яме. И будет катиться, гадя и смердя еще долго, если его не подтолкнуть. Мы самой историей призваны сделать это. Кто-то же должен взять на себя нелегкий труд гробокопателя.

— Совершите революцию, в конце концов. Погибнет много народу, но кто-то уцелеет. Он поморщился:

— Революции не помогают. Они бесполезны. Они кровавы, но недостаточно. Погибает действительно много народа, погибают лучшие сыны отечества, самоотверженные праведники, но остается немало и негодяев, кстати, именно они обычно и пользуются плодами побед. История прямо говорит об этом.

— Неужели нельзя иначе? Я думал, вы хотите завоевать весь мир, обогатиться. Оказывается, у вас совсем другие замыслы.

— А вы надоедливы. Вы втягиваете меня в дискуссию, а мне от вас нужно совсем не это. Нам с вами по вопросам морали не сговориться. Хотя во многом мы очень похожи. Вы столь же циничны и неразборчивы в средствах, только мы масштабней и честней.

— Верните мне мою дочь.

— Формула, документация, и в тот же день вы заключите ее в свои объятия.

У меня страшно болело все тело. Перед глазами двоилось. С дивана поднялись и направились к нам мои охранники. Руки они держали в карманах. Дальше провал...

...Я открыл глаза. Спальня. Постель. Напротив меня сидела Саша и вслух читала:

— Существует несколько синдромов помрачения сознания. Их характеризует ряд общих признаков. А именно: отрешенность от внешнего мира; больные не в состоянии осознать происходящее, в результате чего нарушается их контакт с окружающими; нарушение ориентировки во времени, месте, ситуации и в собственной личности;

нарушение мышления — утрата способности правильно, логически мыслить. Иногда отмечается бессвязность мышления.

— Саша, зачем вы мне все это говорите?

— Чтобы вас напугать...

— Я долго спал? Мне тут такое приснилось... Дайте мне воды, Саша... пожалуйста, — прошелестел я сухими губами. — Кажется, я сошел с ума.

— Вы совершенно нормальны, поэтому я вам это и прочитала. Что это у вас за пузырьки? — спросила она, указывая на бутылочку с капельками доктора Радлова.

И тут я вспомнил, что по результатам дополнительного анализа, проведенного в лаборатории, которой руководил Никодимов, в капельках, помимо слабого наркотика, обнаружилось наличие неизвестного препарата. Откуда? Значит, Организация засовывала свой нос не только в наш институт, видно, они работают и по другим направлениям. А этот препарат наверняка влияет на мою психику, а вкупе с наркотиком вообще неизвестно, чем все это может для меня закончиться.

Последние фразы я, задумавшись, произнес вслух...

— Вот от этого надо бы избавиться, а то вы такое наговорите... — широко раскрыв свои звездные глаза, сказала Саша. Она принесла из кухни стакан с водой. Залпом я осушил его. Немного полегчало.

Пришлось поведал ей обо всем — от начала до конца. А кому я мог еще довериться? Саша поняла все сразу, оказалось, что она дипломированный фармацевт, окончила, как и я когда-то, Пироговку, вот же совпадение!

— А почему вы... медсестра?

— В пансионате платят больше. Значительно больше. А у меня младший брат... он тяжело болен... очень тяжело... кроме меня, у него никого... Кто знает... Может, год, может, чуть больше. А может, все и обойдется, надежда все-таки сохраняется... — сказала она почти равнодушно. Видно, выстрадала это равнодушие.

Звонок на мобильник. Номер не обозначился.

— Мы вас ждали на бульваре битых два часа! — услышал я раздраженный голос. — Формула, и вы получите дочь...

— У меня нет никакой формулы...

— Пеняйте на себя...

Я опять провалился в сон, более похожий на обморок. Сквозь сон мне послышалось, что Саша звала на помощь.

Очнулся я в машине, которая, судя по завыванию двигателя и мелкой тряске, неслась с сумасшедшей скоростью.

— Нашего полку прибыло, — сказал кто-то бесстрастно.

— Вы правы, Костик, лучше бы он не приходил в себя, — услышал я голос Боровского. — Помирать лучше в бессознательном состоянии.

— Куда нас везут? — спросил я. Я был так слаб, что с трудом шевелил языком.

— Знать бы... — в один голос ответили мои друзья.

Машина сбавила скорость и куда-то свернула. Тряска усилилась.

Я осмотрелся. Салон машины был разделен на две части: от водителя и его попутчика нас отделяла перегородка из толстого стекла. Мощные фары освещали дорогу. Мы ехали по ночному лесу. Я протянул руку и подергал ручку двери.

— Я уже пробовал... — сказал Костик.

Через какое-то время прибыли на место. Я узнал его. Нас провели внутрь здания, похожего на дот времен Второй мировой войны.

Были хорошо слышны завывания Никодимова:

— Погибаю, но не сдаюсь! Ой-ой, больно! — орал он во все горло. Было в его воплях что-то ненатуральное, притворное, почти театральное. Словно кричал он не от боли, а по заданию.

Послышались глухие удары, будто кто-то отбивал мясо перед жаркой. Завывания Никодимова сменились булькающими звуками. Потом все стихло.

— Похоже, — натужно улыбаясь, прошелестел посиневшими губами Костик, — только что стало вакантным место заведующего лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии.

— Хотите его занять?

— Только не сейчас! — в ужасе прошептал он.

— Костик, — сказал я также шепотом, — почему вы отказались сотрудничать с этими головорезами?

— Помните, я говорил вам о принципах?

— Сейчас самое время проверить вашу стойкость и преданность святым идеалам.

— Вы думаете, нас будут пытаться?

— Не исключено.

— Если меня начнут пытаться, я, в отличие от Никодимова, расскажу все, что знаю. Хотя я мало что знаю... И вообще, непонятно, меня-то за что?..

— А за компанию, — усмехнулся Боровский.

— А вы-то почему отказались? — спросил меня Костик.

— У меня ведь тоже могут быть свои принципы.

Открылась дверь, и в ней появился мой знакомец с арбузной головой. В левой руке он держал молоток, в правой — утюг.

— Ну, кто следующий? Добровольцы есть? Кто готов на себе испытать действие утюга с парогенератором, пусть сделает шаг вперед! — он засмеялся. Потом обвел долгим внимательным взглядом стоявших перед ним пленников. Его глаза остановились на мне. Он почмокал губами. Видно, вспомнил, как я помадил ему лысину прованским маслом.

— Может, хочешь, паскуда, позвонить своему генералу Рыбину? — он опять зашелся в смехе. Вот так фокус, подумал я, и про Рыбина знает.

До нас донесся голос Никодимова:

— Рыбин неделю назад ушел на пенсию... Я же ваш коллега, идиоты. Мой шифр: семьсот семьдесят семь.

Генерал Рыбин как-то обронил, что у каждого оперативника, отправляющегося на задание, есть тайный знак, с помощью которого его могут идентифицировать коллеги из других подразделений. Тайный знак может помочь в сложных запутанных ситуациях. Если эти лихие ребята работают в соответствующих органах, этот шифр Никодимова спасет. Но Арбуз его разочаровал:

— Можешь, коллега, — он опять засмеялся, — засунуть свой шифр себе в задницу. У меня тоже когда-то был шифр. А за идиота я тебе отдельно накостыляю...

— Значит, нас будут пытаться бывшие сотрудники спецслужб, — приседавая от страха, прошептал Костик.

— Да, у меня тоже был шифр, — говорил Арбуз с обидой в голосе, — пока меня не выкинули любители кататься по ночной Москве на зеленых «гелендвагенах». Теперь шифрами обзавелись они.

— А вот и неправда, — шепнул мне Костик, — я читал, что этих любителей кататься сослали служить на Чукотку. Его же выкинули, судя по всему, за кретинизм.

Арбуз велел мне идти в комнату пыток, из которой на своих ногах, но сильно прихрамывая, вышел Никодимов. Под правым глазом у него наливался сиреневым цветом синяк размером с луковицу.

Никодимова отвели в комнату напротив и прикрыли за ним дверь.

У стола, покрытого листом оцинкованного железа, стояли какие-то субъекты в куртках с балахонами. Трое из них — в масках с узкими прорезями для глаз и рта. В углу, без маски, но прикрывая лицо рукой, стоял... Покорный!

«У них везде свои люди», — вспомнил я слова Боровского. Рядом с ним стоял взъерошенный доктор Радлов в засаленном махровом халате. И тоже без маски.

Обнимая одной рукой Покорного за талию, он говорил:

— Вы знаете, я очень метался в юности, никак не мог определиться с призванием, в семидесятые поступал во ВГИК, провалился, не смог толком рассказать басню Михалкова «Заяц во хмелю». Помните: «Вино лилось рекой. Сосед поил соседа»? Поступал в ташкентский текстильный, ах, какие там были абитуриенточки, пальчики оближешь, им бы, дурам, в театральный, а они в пряхи... срезался: не знал узбекского... Потом на географический... потом на физико-математический... В конце восьмидесятых поступил в медицинский, защитил кандидатскую... В девяностые серьезно увлекся онанизмом... Да, очень метался... — повторил он, еще больше прижимаясь к Покорному.

Тот смотрел на Радлова, не скрывая омерзения.

Арбуз подошел к Радлову.

— У вас есть, доктор, какие-нибудь таблетки? Или пилюли? Чтобы разговорить этого героя?

— Есть. Но не с собой. А вы его пока придушите, только слегка, никакой герой не выдержит. Меня удивляет, что вы так долго возитесь с ним? Занялись бы лучше профессором Боровским... — говорил он, выковыривая из бороды остатки яичной скорлупы.

— Всему свое время, — огрызнулся Арбуз, — у меня с Сапегой свои счеты.

— У меня тоже, — Радлов приблизился ко мне, — коллега, почему вы не заплатили мне за консультацию?

Ответить я не успел. Зазвонил мобильник. Арбуз прижал трубку к уху и впериł глаза в потолок.

— Понял, — отчеканил он, — все выполним в лучшем виде. Кутузовский проспект? Восьмой этаж? Что вы, я не записываю, я повторяю, чтобы лучше запомнить. Мамыня поедет с нами? Есть, слушаюсь! Найдем. А что делать... с этими? — ожидая ответа, он перевел взгляд на пленников.

Я видел, как мелко затрясся Костик.

Закончив разговор, Арбуз сказал своим коллегам:

— Оставим их тут на ночь. Утром вернемся и...

Костик облегченно вздохнул.

Я услышал шуршание шин по гравию и звук автомобильного мотора. Спустя минуту в комнату вошел незнакомец, вероятно, тот самый Мамыня. Я спиной почувствовал, как напрягся Боровский. Вошедший приветливо улыбнулся ему.

— Вот мы и опять встретились, профессор. Что-то подсказывает мне, что это будет наша последняя встреча.

Потом вошедший пальцем поманил к себе обладателя арбузной головы. Негодяи о чем-то пошептались.

— Правильно. Пусть помучаются, — громко сказал Мамыня.

— Нет ничего хуже, чем жить в ожидании неизвестности, — глубокомысленно изрек Арбуз и, неожиданно развернувшись, ударил меня в солнечное сплетение.

Я обеими руками схватился за живот и повалился на пол.

— Учтите, дальше будет хуже... Доктор Радлов советовал вас придушить, — сказал бессердечный мальчишка, наступая ногой мне на шею. — Мы против насилия. Но сейчас не до...

— Не до церемоний, — подсказал Арбуз. И носком ботинка ударил меня в лицо.
— Во-во, не до церемоний. Формула ремедиума, и вы на свободе и... с деньгами. Если откажетесь от сотрудничества, вас ждут большие неприятности.

— Отрежем голову, все дела, — пообещал Арбуз.
— Вам говорила Тамара Владимировна, о какой сумме идет речь? — спросил меня мальчишка.

— Соглашайтесь, — мягко посоветовал Арбуз.
— Сейчас подключим утюг... — сказал с угрозой мальчишка.
— Ничего не выйдет, — с сожалением сказал Арбуз. — Напряжение слабовато, ваше сиятельство.

Мальчишка убрал ногу с моей шеи. Арбуз приподнял меня и прислонил к стене.

— Какое упущение! — возмущался мальчишка. Несмотря на возраст, он, видимо, был здесь главный. — Ничего никому нельзя доверить! Запускаем андронный коллаидер, а тут с утюгом справиться не можем, Ну как, гражданин Сапега, не передумали? Продолжаете упорствовать? Вам всего-то и надо немного сосредоточиться и нарисовать формулу, — он указал на стол, на котором лежала шариковая ручка на стопке белой бумаги. — Повторяю, мы против насилия, и мы держим слово. Даю вам честное слово, — он извлек из кармана миниатюрный серебряный обруч с буквой «А» и, глядя на него, перекрестился указательным пальцем, — формула, и через минуту вы окажетесь на свободе.

— Сколько раз вам говорить, — прошептал я разбитыми губами, — нет никакой... А вы хуже гестаповцев...

— Поймите, — втолковывал мне мальчишка, — мы не какие-то там звери. Ваша дочь и ваша девушка... — он повернулся к Арбузу. — Как ее зовут?

— Саша.

— Да, и ваша девушка Саша... мы их отпустили. Вот вам доказательство... — он набрал номер на мобильнике и включил громкую связь. Я услышал голоса Саши и Лизы. На экране возникли их лица.

— Папа, у тебя все лицо в крови, — Лиза впервые назвала меня «папой».

— Это краска... — пробормотал я.

— Главное, ты жив... — это уже Саша.

Связь оборвалась. Экран погас.

— Вот видите, мы их отпустили. Благородно? Учтите, мы можем опять их... Ну подумайте, сейчас мы поедем на квартиру Боровского. Найдет там эту злополучную вторую часть. Может быть, вас оставим в живых, но денег, огромных денег, вы лишитесь. И вообще, все в руках Господа... — он возвел глаза к потолку. — Завтра может для вас не наступить, все зависит от моего настроения.

— А это, — сказал Арбуз, — чтобы тебе лучше думалось, — со смехом он расстегнул ширинку. Теплая жидкость полилась мне на голову. Когда я попытался увернуться, он ударил меня еще раз по лицу. На этот раз кулаком. Во рту стало солоно, и закачались зубы верхней челюсти.

Я успел пошутить:

— Мое самое слабое место...

Мальчишка раздраженно сказал Арбузу:

— Геройствует, шут гороховый... Теперь вся надежда на квартиру... Наверняка проклятый профессор там все спрятал. Не понимаю, почему раньше никому не пришло это в голову?! Надо было начинать не с Сапеги, а с Боровского.

— Только что и я говорил об этом, — подобострастно подал голос доктор Радлов.

Мальчишка посмотрел на него с ненавистью.

— Помолчите, черт бы вас побрал! Едем!

Через минуту нас осталось пятеро: Боровский, я, Костик и пара охранников.

Арбуз, безжалостный мальчишка, доктор Радлов, Покорный и прочие, зачем-то прихватив с собой заведующего лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии липового доктора Никодимова, отправились на Кутузовку.

— Посмотрим, какой прием окажет им моя благоверная, — охрипшим голосом сказал Боровский, когда я поведал ему о случайно подслушанном разговоре. — Думаю, им не поздоровится.

Глава 21

— Ну вот, лиха беда начало, — сказал Костик.

Его мрачно поддержал Боровский:

— Дальше будет веселей.

Я лежал на куче тряпья, и лоб мой холодил мокрый платок. Он успел пропитаться мочой и издавал сильный запах ацетона.

— Любитель лягаться болен диабетом в последней стадии, скоро загнется, — приносящаясь, со знанием дела отметил Костик. — Как им удалось собрать всех нас в одном месте?

— Я всегда говорил, что у них практически неограниченные возможности, — ответил Боровский. — Вас не пугают эти столы?

— Столы как столы: я на таких крыс резал...

— Чем?

— Скальпелем! Чем еще?!

— Скальпель бы нам сейчас не помешал.

— У них автоматы, а вы — скальпель...

У нас было время, чтобы все обдумать. А мы, вместо того чтобы обсуждать сложившееся положение, заговорили о постороннем, о всякой ерунде; не хватало только кухни, пива и воблы.

— Хорошая страна — Англия. И если бы не правый руль и отвратительная погода, в ней можно было бы жить, — говорил Боровский, уставившись в угол пустыми глазами.

— А мне нравится Англия. Хотя там слишком много англичан. Слава богу, их с каждым годом становится меньше... Я уеду туда, если удастся вырваться.

— Я бы тоже уехал. Но в отличие от вас, я не знаю английского. А теперь давайте поговорим о вере.

— Самое время, — кисло улыбнулся Костик. — Я прожил на этом свете больше тридцати лет, но так и не смог убедить себя, что Бог не выдумка, а реальность. И теперь умираю без веры. Смерть не шутка, это я только сейчас понял. А что если мы действительно не доживем до утра? Вот будет хохма! М-да... Как ни странно, мне ужасно хочется есть.

— Это у вас нервное. Но подкрепиться сейчас не мешало бы, — заметил Боровский и облизнулся. — За что я не выношу атеистов, так это за то, что они предлагают помириться без уверенности в завтрашнем дне. То есть без слабенькой надежды на потустороннюю жизнь, на жизнь за порогом, на небесах то есть, без надежды на вечную жизнь.

— Слишком высоко воспарили, уважаемый Борис Петрович. Вот расколуют вам котелок, будете знать, как мечтать о жизни на небесах. Умрешь и все узнаешь. Или перестанешь спрашивать...

— Помню, — обрадовался Боровский. — Достоевский.

- Толстой, садовая вы голова!
Боровский злобно сжал губы.
- Хамите, юноша. Никакого почтения к сединам!
— Как за девками бегать, так вы забываете о седирах...
— Опять хамите. Впрочем, я на вас не сержусь... Зачем нас здесь всех собрали?
— Надоело, видно, гоняться за каждым поодиночке. Вот и решили... всех скопом...
Думаете, станут пытать?
- Несомненно, вон как они отделали заведующего лабораторией. Среди наших мучителей я не вижу Тамары Владимировны. А ее здесь явно не хватает. Вы не забыли, что она патологоанатом? Как начнет хлебным ножом полосовать... ужасное положение... — Боровский с надеждой посмотрел на меня. Я посмотрел на Костика. Он в задумчивости грыз ногти. Я нащупал ключи в кармане. Скорее бы ночь...
- Тамара Владимировна режет только мертвецов, — вспомнил я.
- А мы кто? Самые мертвецы и есть...
- Когда-то, — сказал Костик, — один мой до чрезвычайности умный сокурсник, закончил он, правда, совсем не по-умному: напился до чертиков и удавился в глухом лесу под Тамбовом, в какой-то избушке на курьих ножках, так вот, этот мой умный приятель учил меня: неразрешимых проблем не существует, любую проблему можно решить, надо только сильно захотеть.
- Я вас правильно понял: он захотел и повесился?
- В общем, да. Но не только. Он мне так говорил: если ты убедишь самого себя, что ты сделаешь что-то, что сделать почти невозможно, то ты это непременно сделаешь.
- Сказал он мне это, когда я готовился к экзамену по оперативной хирургии. А я ни черта не знал. Пришлось-таки встать перед экзаменатором на колени. Он так перепугался, что поставил мне «уд». Это я к тому, что, если хорошенько захотеть, можно выпутаться из любой ситуации.
- Вам и карты в руки, — пробурчал Боровский.
- А почему бы не попытаться убежать отсюда?
- Беру ваши соображения на заметку.
- И только?
- Потерпите немного. Спешка нужна, сами знаете когда. А пока давайте поговорим о чем-нибудь другом. Что вы знаете, например, о Робеспьере? — задал Боровский вопрос Костика, при этом хитро поглядывая на меня.
- Помню, что ему оттяпали голову. Давайте лучше о Дидро... Дидро сказал, что вся история человечества — это история угнетения огромных людских масс ничтожной кучкой мошенников.
- Приснившийся мне Кляка говорил то же самое. Слово в слово. Значит, мне тогда снился вещий сон? Сны вторглись в действительность? Что это? Синдром острого чувственного бреда? Когда все вокруг воспринимается как «нереальное», «подстроенное», «искусственное»? Если Костик сейчас скажет: «Мошенникам безразлично, под какими хоругвями промышлять разбоем»...
- Мошенникам безразлично, под какими хоругвями промышлять разбоем, — сказал Костик, подтверждая мои опасения. — Анархия, деспотия, тоталитаризм, демократия — им все едино.
- Коллега! — прикрикнул на Костика Боровский, — не говорите красиво.
- Это я к тому, что не нам менять историю. История меняет себя сама. Вам, уважаемый Борис Петрович, не все ли равно, кто угнетает нас — негодяи или сумасшедшие? Нас всегда будут угнетать, таков закон природы. Управлял нашими отцами и дедами в течение тридцати лет параноик, и ничего — построили мощное государство, побе-

дили фашизм, потом пришел вроде нормальный молодой с коричневой блямбой на лысой голове и развалил страну.

— Не означает ли это, что вы готовы продаться за тридцать серебряников?

— Я-то готов, да кто же купит. Я же не знаю ничего ни о какой формуле. И потом, жизнь не тридцать серебряников. Мне жить хочется. Вы, уважаемый Борис Петрович, уже пожил... А у меня еще, может, была вся жизнь впереди. У меня грандиозные планы, я талантлив и молод. Потом, у меня семья, любовницы...

— Какой же вы дурак, право! У каждого нормального мужчины есть семья и любовницы! Кроме того, и мне хочется жить. Вы не поверите, мои юные друзья, но жизнь оказалась невероятно короткой. Я и не ожидал. Годы — словно песок меж пальцами. В детстве, которое казалось бесконечным и из которого хотелось поскорее выскочить и превратиться во взрослого, вся будущая жизнь представлялась дорогой, уходящей за горизонт. А жизнь промчалась, как... даже сравнения не подберу...

— Как реактивный самолет...

— Вы прозаичны, как... ну вот, опять не подберу сравнения! А жизнь... только-только развернулся, а тут уж и помирать пора.

— Хорошо рассуждать о жизни и смерти, — с грустью заметил Костик, — посиживая у камина и попивая виски со льдом. У меня, кстати, нестерпимая жажда.

— Потерпите до утра, Костик. Так или иначе проблема с жаждой будет решена.

— Что вы имеете в виду?

— Если вам повезет, утром вы утолите жажду. Если не повезет, ее будет утолять кто-то другой, с интересом разглядывая вашу голову, отделенную от вашего же туловища.

* * *

Поскольку у нас отобрали мобильники, связь с внешним миром прервалась.

Я попытался уснуть... Ныли зубы, но зато перестали шататься. Скрючившись, я понял, что в этом положении я не чувствую боли в животе. Самое время уснуть. Сон и действительность... Разницы никакой.

Сквозь волны наплывающего сна прорывались клочки мыслей и видений...

Ничего не найдя в квартире на Кутузовке, они вернутся и примутся за нас. Боровский сдастся и продиктует им формулу или что-то похожее на нее. «Что вы наделали?» — спрошу я его. «Это формула нашего бальзама», — скажет Боровский и засмеется.

Итак, нас охраняют двое. Красномордый бородач с автоматом и некий заморыш, кривоногий и хромой. И тоже с автоматом.

Костик треснет бородача. Стулом. Жизнь не тридцать серебряников, скажет он. И треснет. «Мне все одно, что крыса, что человек», — хладнокровно добавит он. «Ну и молодежь пошла!» — восхитится Боровский. И перережет горло второму. Он это умеет — резать. Начал с оленя, закончит человеком.

Теперь нас точно убьют. Дверь нам все равно не открыть... Ах да, у меня же есть ключи... «Откроют, а мы их из автомата», — скажу я.

«А вы умеете стрелять?» — спросит Костик. «Посмотрите в Интернете, — отвечу я. — Там все есть...»

«Там-то есть, да у нас нет: ведь мобильники отобрали».

«Может, у красномордого есть?»

«Увы, у него Арбуз отобрал перед уходом». Это правда, это не сон, это действительность.

Надо, надо отстреливаться... Стоит нажать на спусковой крючок, и готово... Боровский умеет, он ведь охотник. И еще он мастер горло перерезать... Ключи...

Сознание путалось...

Когда я проснулся, то понял, что и этот сон у меня вещей. Охраняли нас двое: невзрачный, кривоногий и хромой, выбегает он из спальни... и красномордый бородач, похожий на махновца. Этот был опоясан пулеметными лентами, на голове каска, за поясом два маузера и плоская фляжка. Вид у него был бутафорский. У обоих за спиной болтались автоматы «узи».

Перед уходом Арбуз и его помощники внимательно осмотрели помещения. Нас еще раз обыскали. Кривоногий и бородач сдали свои мобильники. Взамен им оставили картонную коробку с едой. Значит, все у них было расписано заранее.

Арбуз презрительно посмотрел на Боровского и Костика.

— Трясутся, как хрен моржовый... Такие не убегут.

Звонкобрякнул ключ в замке: нас заперли снаружи — вместе с охранниками.

Спустя какое-то время послышалось громкое чавканье: охранники ужинали в соседней комнате.

Насытившись, рыгая и сплевывая, бородач протопал в уборную, шумно оправился, минут пять шуршал бумажкой, потом спустил воду и, на ходу подтягивая штаны, вошел в комнату. Потом, что-то бормоча и, как мне показалось, кого-то проклиная, придвинул железную кровать к входной двери, рядом поставил стул. Автомат повесил на спинку стула, снял каску и улегся на панцирную сетку. Оба маузера положил себе на живот. Хлебнув из фляжки, он крякнул, потом завинтил пробку и сказал:

— Сидеть, не шевелиться. Шаг в сторону рассматривается как попытка к побегу, — ему удалось одновременно хохотнуть и зевнуть. — Стреляю без предупреждения, навскидку, без промаха. Бью меж глаз. Как белку, — сказал и тут же уснул. От его храпа зазвенела панцирная сетка.

— Уверены, гады, что сбежать отсюда невозможно, — прошептал Костик.

— Откуда они таких выкопали? — изумлялся Боровский.

— Взяли напрокат в Музее Октябрьской революции. Или на «Мосфильме».

Как бы подтверждая предположение Боровского, невзрачный, кривоногий и хромой подумал и произнес, ни к кому не обращаясь:

— Я, вообще-то, из актеров. Один раз хотели взять меня на главную роль в фильме о басмачах. Мол, подхожу, потому что у меня ноги такие же кривые, как у Чарльза Бронсона. Не взяли, сказали, голос у меня противный, вот приходится подрабатывать, жить-то надо.

Невзрачный, кривоногий и хромой долго вертелся, пытаясь поудобней устроиться, на другой кровати. Наконец и он затих.

— Нам дали передышку, — тихо произнес Боровский.

— До утра. А потом отрубят головы.

— Начнут с вас, Костик.

— Почему с меня?

— Шея у вас подходящая, как раз для этого дела. Ах, как хочется пить!

Костик указал пальцем на страшный стол с графином.

— Вы уверены, что там вода? — засомневался Боровский. Фонарь, висящий под потолком, все время мигал и наконец погас. Теперь нашу комнату освещал слабенький свет, шедший из соседнего помещения.

Как-то раз Боровский пригласил меня совершить прогулку по местам, связанным с его деревенским детством.

— Зачем вам это?

— Трогательное воспоминание и все такое, — слегка смущаясь, сказал он и неопределенно повертел рукой в воздухе.

Боровский рассчитывал окунуться в прошлое, красиво повздыхать, проветрить мозги и оздоровить душу чистыми мыслями. Его ждало жестокое разочарование. Что естественно и закономерно. Там, где прежде пролегла изумительная березовая аллея, высились удручающе одинаковые многоэтажки и дымили авто. Его глаза набухли слезами. Плач печального крокодила. Я не стал его жалеть. Не стал и насмеяться. Я сам точно такой же. С той лишь разницей, что не ишу далекое прошлое: оно у меня всегда при себе, под боком: ведь Покровский бульвар, где прошла вся моя жизнь, не изменился — каким был полвека и век назад, таким и остался. Только фонари светят иначе — мертвенно, бездушно, и дорожки покрыты шершавой плиткой.

Суждено ли мне увидеть незабвенный Покровский бульвар?

У меня страшно разболелась голова. Она потрескивала, как поставленный на плитку пустой чайник. Жаль, нет капелек доктора Радлова. Хорошо бы опять уснуть. Стал считать баранов. Пересчитал всех, живых и съеденных.

Опять приснился Боровский. Его пытаются. Воеет от боли. Опускается перед ними на колени. Говорит, что никто не знает того, что знает он. И требует, чтобы эти гады поклялись, что они ничего нам не сделают. Все изображают из себя святых — даже те, кто тебе снится.

— Как трудно жить без иллюзий! — воскликнул Костик так громко, что я проснулся.

— Вся наша жизнь — одна большая иллюзия, — изрек Боровский и демонстративно громко пукнул.

Костик наморщил нос и непроизвольно отодвинулся.

— Простите, — как ни в чем не бывало извинился Боровский, — это чисто нервное. А что касается иллюзий, то еще древние греки подметили, что жизнь — это иллюзия, фантом, обман зрения. Правда, они это приспособили к архитектуре. Они специально нарушали гармонию частного, чтобы гармонизировать целое. А уже позже Кальдерон... Да и Кампанелла... Я это понял, когда мне перевалило за сорок. Когда я смотрю на женщину, я вижу всю ее дамскую архитектурную сущность: грудь, упругую шею, золото завитков волос на затылке, влагу на обольстительных губах, напряженные соски, тугой и нежный низ живота, узкие лодыжки, розовые икры, упоительные изгибы жопы...

— Фи, Боровский, вы даже здесь не можете обойтись без пошлости.

— Помолчите, мизерабль! Частности, взятые вне связи с целым, напоены глубоким смыслом. Но этого недостаточно. Поэтому чтобы восторг от познания частного и цельного стал всеобъемлющим, я каждую женщину гармонизирую, так сказать, в своем воображении, то есть леплю из дерьма идеальный образ... — токовал Боровский, изображая руками нечто округлое. — И для меня нет тайн.

— А как же быть с Кларой Ивановной?

— Когда я познакомился с ней, я плохо представлял себе, кто такие Кальдерон и Кампанелла. Я был окутан иллюзиями, как вы сейчас. Клара — это моя трагическая ошибка. Я ошибся в ней, я слишком поверил в свою способность предвидеть. Что свидетельствует о том, что самоуверенность — признак неглубокого ума. Важно вовремя это понять. Увы, с этим открытием я припозднился. Скольких ошибок я мог бы избежать, если бы своевременно во всем этом разобрался.

— Итак, иллюзии...

— Да-да, иллюзии. Иллюзии украшают жизнь прельстительными сказками, в которые мы верим, потому что без иллюзий жизнь была бы скучна, неполна, излишне прозаична и лишена очарования нас возвышающего обмана. Когда я говорю об иллюзии, я, конечно, имею в виду увлечения, любовь, женщин. Зачастую в спутницы жизни

мы выбираем не реальную особу, а свое представление о ней. Мы выбираем ту, которая, угадывая нашу целомудренную мечту о прекрасной любви и про себя насмехаясь над ней, все делает так, чтобы иллюзия не дала сбой. Женщины безошибочно делают это на протяжении многих и многих лет — пока длится любовная связь. Они всячески поддерживают нас в этом обмане. У них невероятное чутье на угадывание чужих мыслей. Женщины распознают наши мысли, намерения. Мужчины на это не способны. Вот и вся загадка, тайна женской природы. Женщины всеми силами стараются уверить нас, что они тоже люди. И им это всегда удается. И именно поэтому наша жизнь так далека от реальности и именно поэтому она так прекрасна!

— Какой же вы циник! — воскликнул Костик.

— Просто я говорю открыто то, что другие скрывают. Но хватит об этом. Давайте о деле. Будем предельно откровенны и честны хотя бы раз в жизни. Если я правильно понимаю намерения наших тюремщиков, они с нами церемониться не собираются. Если мы будем сидеть сложа руки, нам хана.

— Что вы предлагаете? Убить их? Я не могу.

— Хорошо, — кротко согласился Боровский, — будем терпеливо и покорно ждать, пока нам не открутят головы.

— Вы же сами совсем недавно предлагали не торопиться.

— Я говорил, что не надо спешить. А это не одно и то же.

— Поймите... убить человека... риск огромный... я боюсь, что в самый ответственный момент у меня задрожат руки.

— От чего же они должны задрожать? От страха?

— Да, от страха, что жертва вырвется и сама начнет меня душить.

— Тогда займемся тем, чем всегда занималась либеральная интеллигенция — переливанием из пустого в порожнее. Вспомним, что мы все-таки какие-никакие ученые, интеллектуальная элита нации. Давайте устроим что-то вроде философского диспута перед смертью. Лучшей минуты не найти. Это будет нашим нравственным ответом судьбе. Жили хорошо, надо и помереть со вкусом. Заодно скоротаем время.

— Вот нас здесь трое. Вы уже пожилой человек, почти старик. Пожили. И будет вам. Сапега хоть и моложе вас, но значительно старше меня. То есть тоже пожил. И пожил хорошо, с удобствами. Вы должны помочь мне выжить. Накиньтесь на них, убейте их.

— А если они окажут сопротивление и убьют нас?

— Героическая смерть, что может быть почетней! Вы падете в борьбе за правое дело.

— Избавив от смерти такого труса и слюнтяя, как вы?

— Я молод, у меня вся жизнь впереди.

— Рановато вы списываете меня со счетов. У меня тоже кое-какая жизнь впереди...

— Помогите мне выжить! — взмолился Костик. — Хотите, я стану перед вами на колени?

— Не хочу.

— Ну почему?..

— Давно ушли в прошлое такие поступки, как помощь ближнему. Вспомним, как радовались Некрасов с Белинским, когда увидели новый талант, они умели в виду Гоголя. Всю ночь читали только что вышедшие «Вечера близ Диканьки», побежали, растолкали спящего Николая Васильевича, чтобы сообщить ему, что он гений... А сейчас настали людоедские времена, каждый думает о себе, до ближнего ему нет дела. Скажите, побежал бы кто-нибудь сейчас к Гоголю... Может, и побежал бы, да только для того, чтобы его прирезать, чтобы не мешался и не путался под ногами. И вы хотите, чтобы я помогал вам, чтобы я нарушил устоявшееся положение вещей?

— Ах, зачем мне умирать! Все абсурдно до такой степени, что ни в чем не разобратся. Вокруг хаос, в котором вы, судя по всему, себя прекрасно чувствуете.

Боровский не ответил. Спустя минуту он заботливо наклонился ко мне:

— Принести вам воды из графина?

— Идите к черту.

— Посмотрите, Костик, наш больной оживает. Глядишь, к утру, к моменту казни, он будет в хорошей душевной и телесной форме и оглашение приговора встретит в приподнятом настроении и во всеоружии своего хладнокровия, воодушевления и мужества. Головка не болит? А животик? Как же он ловко хрястнул-то вас, этот негодяй!

Он повернулся к Костику:

— Вы что-то сказали об абсурде и хаосе? Основа, на которой держится вселенная, — это абсурд. Человек тщится во всем этом разобраться и насочинил уйму всяких способов познания мира и его законов — это и религия, и наука, и просто мысль, витающая в головах некоторых особо чутких индивидуумов. Вот вы говорите, умрешь и все узнаешь...

— Это не я, это Толстой.

— Черт с ним, с вашим Толстым! Мне куда больше нравится, если такое вообще может нравиться, высказывание Антона Павловича; тот все объяснял куда проще и страшней: он говорил, что смерть — это просто погибель. Понимай это так: ни черта мы не узнаем, просто наш дух, наше сознание исчезнет. Мы просто перестанем существовать.

Костика, как говорится, крючило.

— Мы не можем умереть, не разобравшись с важными вопросами...

— Эх куда вас занесло! С важными! С простыми разобраться не можем... Уже три тысячи лет, со времен греческих мудрецов, все тщимся разобраться со всеми этими «зачем» и «почему». Во всем ищем смысл, а смысла никакого нет. Просто с нашей смертью перестанет существовать Вселенная, потому что ее никто не будет видеть, ощущать, так сказать, — Боровский потер пальцами в воздухе. — Одного понять не могу: какого черта Вселенная расширяется? Ей что, мало места?

— Когда все это задумывалось, — Костик обвел взглядом наше убогое жилище, темный потолок, мрачные стены, за которыми был свет, и мы поняли, что он имел в виду, — когда все это задумывалось, то о человеке и речи не было. Были хаос, абсурд, мировая бессмыслица. Но родился венец природы...

— Да, — с энтузиазмом подхватил Боровский, — родился и тут же нагадил. Не уследил создатель, вот и родился этот ваш венец природы. Вы когда-нибудь лицезрели новорожденного? Нет? А стоило бы. Склизкий, краснокожий, противный, сморщенный, как... сморчок. Венец природы! Сморчок хоть съедобен, а этот маленький, вонючий, беспрестанно орущий на то и годится, чтобы его сразу же утопить, как кутенка. А с годами этот человечек становится только гаже. Кому он нужен, этот ваш человек? Только для того, чтобы вносить сумятицу в устоявшийся космический порядок? Человек на вселенском временном поле — явление случайное: его невозможно измерить секундомером, которым измеряют триллионы лет. Мы с вами на вселенском небосклоне не более чем букашки, ничего не изменилось с появлением человека, ничего не изменится с его исчезновением.

— А исследования планет Солнечной системы? — громко возмутился Костик и сам себе зажал рот, услышав, как заворочался во сне наш охранник. — Человек, — добавил он тише, — во Вселенной оставил следы. На Луне побывал...

— Мог бы этого и не делать. Где человек, там обязательно нечистота, пакость, грязь... — Боровский сплюнул. — А Солнечная система, да будет вам, невыносимый юноша, известно, это лишь крошечная крупинка во Вселенной.

— Неужели, — опять громко воскликнул Костик, перескочив на привычные мысли о смерти, — я скоро умру? Я всегда думал, что вообще никогда не умру.

— Вам давно пора было бы повзреть.

— Я все еще на что-то надеюсь... Знали бы вы, как мне не хочется умирать!

Боровский фыркнул:

— Будто мне хочется меньше.

— Нет-нет, вы не понимаете! А вдруг правду говорит Библия о Втором пришествии и воскресении...

— Вот увидите, завтра все мы помрем и так ничего и не узнаем. Поверьте старому ученому. Ничего там, за порогом, нет.

Боровский немного походил по комнате, потом повозился с кучей грязного тряпья, пытаясь его взбудрить и соорудить себе некое подобие постели.

— Вот мой последний ночлег, — укладываясь, проговорил он печально.

— Система для сна всех наших мечтаний, — глубокомысленно изрек Костик, укладываясь рядом.

— Это что еще за мерзость? — Боровского передернуло, словно он наступил на змею.

— Это из рекламного ролика. Компания, изготавливающая матрасы, таким образом продвигает свой товар на рынок.

— Каким же надо быть идиотом, чтобы создать такой текст!

— Текст, согласен, идиотский, но матрасы сделаны на славу, и их расхвывают, как горячие пирожки.

— Господи, что делается, что делается... — запричитал Боровский. — Слышать такое отказывается мое академическое ухо. Я на такую систему для сна не лег бы даже сейчас, пусть уж лучше плаха... Может, это даже хорошо, что мы завтра помрем... лучше помереть, чем жить в обществе, где на ура принимаются такие мерзости. Вообще-то, надо признать, для изнеженных интеллигентов мы ведем себя неплохо, — он поочередно посмотрел на меня и на Костика, — другие на нашем месте давно бы бились в истерику или сошли с ума, а мы говорим, говорим, все наговориться не можем. Кстати, — с воодушевлением сказал он, — как вам понравится такое соображение: бывают случаи, когда неважно, как жил человек — куда важнее, как он вел себя, простите за банальность, перед лицом неумолимо надвигающейся смерти.

Эта фраза на некоторое время погрузила нас с Костиком в глубокую задумчивость. Часы у нас тоже отобрали. Сейчас, судя по всему, примерно три часа ночи. До утра рукой подать.

Мы лежали в полутьме. Каждый не спал и думал о своем.

Моя жизнь, если мне удастся ее сохранить, могла заиграть новыми красками. Саша, Лиза, моя работа, которой, что там ни говори, я дорожу и без которой я не мыслю своего существования. Я талантлив, я знаю это, и помирать, не завершив многого, не хотелось. Меня, к счастью, небрежно обыскали: чего ждать от сумасшедших. Мобильник и бумажник отобрали, а вот о ключах забыли. В связке находился тот — счастливый. Оставалось только вставить его в замочную скважину. Но чтобы подойти к двери, надо было разоружить охранников. Хватит ли у меня на это сил, решимости, отваги и сноровки? А ведь их придется убить. Это тебе не крыс резать. У дверей храпят живые люди, пусть и мерзкие. Можно, конечно, лежать и ждать околеванса. Лежать, как полено, и рассуждать о бренности сущего. А потом погибнуть бесславно в этом железобетонном ящике. Обо мне не скажут: великий был человек, скажут: сгинул, как заяц. Нет, и этого не скажут. Обо мне вообще ничего не скажут.

— Неделю назад я принял твердое решение стать писателем, — прервал тишину Костик.

— Неделю назад? А до этого?..

— До этого я занимался наукой. То есть всю жизнь занимался не своим делом. Я давно задумал написать роман. Вот послушайте. Это будет... — Костик помотал головой, — это был бы роман о писателе, не написавшем еще ни единой строчки: у него

мучительно умирает жена, он каждый день просит то Бога, то дьявола, чтобы поскорей. Он уверен, что именно она мешает ему жить, творить и прочее. Женился на ней много лет назад, чтобы успокоиться, она извела его своими изменами, он полагал, что женитьба принесет ему покой. Когда немного успокоился и стал на ноги, он решил уйти от нее. Надеялся, что, обретя свободу, он засядет за письменный стол, чтобы родить шедевр. Вместо этого принялся пьянствовать, менять партнерш. Несколько раз принуждал себя садиться за письменный стол. Но ничего не выходило. Вместо того чтобы писать, он рисовал женские головки. Дело было не в жене, а в нем самом. А тут еще он влюбился в очаровательную девушку, потерял голову. Вел себя, как мальчишка, ревновал, следил за ней... А она оказалась дурой набитой, к тому же еще и погуливала от него. Вернулся к жене. Спустя несколько лет жена тяжело заболела. Она умирает в больнице, он заботится о ней, страдает вместе с ней. Понимает, что она единственный человек, который ему по-настоящему дорог. Он понимает, что и она его любила. Пусть по-своему, но — любила. У нее была когда-то в юности несчастная любовь, она пыталась покончить с собой. Не получилось, что-то сорвалось. Но в ней на всю жизнь остались ненависть к мужчинам, страх и недоверие. И измены ее оттого, что она давно махнула на себя рукой. Грустная, несчастная, одинокая, непонятая женщина. И теперь она умирала. Умирала мужественно. Только один раз заплакала, когда очнулась ночью и увидела, что он сидит у ее постели и плачет. Когда понял, что она уже не столько живет, сколько умирает, причем умирает в муках, он дал ей яду. Короче, он всю оставшуюся жизнь казнил себя. Хотя он, возможно, единственный раз за все время их совместной жизни проявил милосердие.

Боровский изумленно посмотрел на Костика:

— Я такое читать не буду.

— Другие — будут... — обиделся Костик.

Боровский хмыкнул и перевернулся на спину.

— Вряд ли. Ваше призвание — резать животы крысам. Впрочем, может, вы и правы, пишите свой роман, а там видно будет.

— Но теперь мне его не написать.

— Вы еще напишете свой дурацкий роман, обещаю вам, — глядя в потолок, твердо произнес Боровский.

— Жизнь, в сущности, прожита. И прожита совсем не так, как хотелось, — сказал Костик мрачно. — Теперь умудриться бы помереть без мучений.

— Прекратите! — набросился на него Боровский.

— Не кричите так! — прошипел Костик. — Разбудите этих...

— Они спят как сурки. Вон как храпят... — отмахнулся Боровский. — Костик, вам едва стукнуло тридцать. К чему эти мрачные мысли!

— А какие могут быть мысли у приговоренного? Радостные, праздничные! Кстати, на счастье, мне совсем не хочется жить.

— Вы же сами совсем недавно утверждали прямо противоположное.

— Я пересмотрел свои взгляды.

— Когда это вы успели?

— Хватило часа. Когда подопрет, время внутри вас сжимается, это вам каждый физик скажет.

— А как же ваши интрижки с бабами? Вам не обидно, что их окучивать будут другие?

— Конечно, обидно, но мои барышни быстро найдут мне замену, женщины не любят подолгу горевать, — сказал и тяжело вздохнул.

— Не скажите. И среди женщин попадаются любопытные экземпляры: верные, преданные и отличающиеся постоянством. Правда, мне на таких не везло.

— А я о таких даже не слыхивал. А коли так, то пора к праотцам.
 — Почему вы так легковесно относитесь к своей жизни?
 — Перед смертью спрессовываете не только время, но и сознание. Пастером мне не стать. Мечников из меня не получится. Тогда зачем жить?

— Чтобы занять место Хемингуэя.
 — Его место давно оккупировала Донцова.
 — Костик, прекратите говорить глупости. Вы же намереваетесь ошеломить мир литературным шедевром. Вот и ошеломляйте. И потом, дорогой мой Костик, если вы не добились того, о чем мечтали в юности, это не повод, чтобы расставаться с жизнью.

— Русский человек не хочет удовлетворяться уцененным продуктом, ему подавай первый сорт. Не хочет оставаться майором, хочет быть генералом. А если не удалось, головой в омут. Любого европейца вполне устроит, если он влезет в средний класс. Нам этого мало, нам — или все, или ничего.

— Хватит, Костик. Жизнь, даже за день до смерти, — все равно жизнь. Может, самая ее значительная часть. Мы не напрасно прожили наши жизни. Разрабатывали новые лекарства, помогали людям. Кто знает, скольким людям мы спасли жизнь. Словом, мы не напрасно прожили наши жизни. У вас, правда, она оказалась коротковата...

— Жизнь коротка и печальна, вы заметили, чем она вообще кончается?
 — Пушкин?.. — вопросительно сдвинул брови Боровский.
 — Экий вы, право... Это сказал Бродский, чтоб вы знали. А коли жизнь кончается смертью, то зачем суетиться.

— Глупо! Банально!
 — Всех нас ждет один и тот же конец: кого позже, кого раньше. Милый мой, в жизни есть неизъяснимая прелесть. Покажите мне человека, который чурался бы роскоши и наслаждений. Обворожительные девушки, беспечные собутыльники, увлекательные путешествия, Адриатика, Венеция, королевские скачки в Аскоте, Уимблдон, Ницца, Неаполитанский залив! Великие театры, Лувр и Уффици для рафинированных эстетов! И рестораны, рестораны, рестораны для отчаянных прожигателей жизни! Ах, да это у каждого на уме! И конечно, азартная игра — для тех, кто понимает в ней толк. А ночные прогулки по флорентийским набережным! А романтические ужины с синеокими красавицами под каштанами на осенних парижских бульварах! А красное бархатистое из апелласьона Бандоль урожая 2002 года! А коррида! А греческая кухня! А альпийские озера Австрии! Это только Европа. А есть еще обе Америки, Азия, Африка! А петербургские белые ночи? А Кавказ? А Байкал? Когда вы в последний раз выбирались за пределы Садового кольца? Мир огромен и безумно интересен, загадочен и романтичен! Словом, можно, можно при большом желании и везении пожить в свое удовольствие! И вы хотите, чтобы этим наслаждался кто-то другой? Не хотите сами испытать все это? Никогда не поверю. Даже я, в свои шестьдесят... Словом, надо все испытать. И спешите жить.

— Зачем вы все это говорите? — раздраженно спросил Костик. — Для меня все кончено.

— Давайте разберемся. В сущности, мертвый мало чем отличается от живого.
 — То есть как это?..
 — А так. Мертвый умер вчера, живой умрет завтра. Вот и вся разница.
 — Глупо!
 — В чем, по вашему мнению, смысл жизни? Без понимания этого все рассуждения о жизни и смерти бессмысленны.

— Сейчас вы начнете балаболить о Гёте, о Толстом и еще, не дай бог, о Солженицыне.
 — Учитывая ваши ограниченные умственные способности, я специально для вас приземлю идею смысла жизни. Смысл жизни, как утверждали древние гедонисты, в на-

слаждения и удовольствиях. Хорошая еда, достойное жилье, красивые женщины, путешествия, Монте-Карло и прочее...

— Вы это уже говорили, да и к чему попусту мечтать? Вот откроют нам завтра головы... какое уж тут Монте-Карло.

— Помяните мое слово, Костик, и у меня, и у вас еще будут и Монте-Карло, и альпийские озера, и многое другое. И вы еще напишете свой романчик.

Сказав это, Боровский бесшумно поднялся и подошел к столу с графином. Воду он вылил на кучу тряпья. Беззаботно насвистывая, он направился к кровати, на которой храпел бандит с автоматом. Резкое движение, удар, глухой звук, словно раскололся обернутый мокрым полотенцем орех размером с тыква, и бандит затих навеки. Все произошло так быстро, что я не сразу осознал, что произошло. Потом Боровский достал из кармана некий блеснувший на свету предмет — я узнал пилку для ногтей, купленную им в Занзибаре, — и, продолжая весело насвистывать, для верности перерезал бандиту горло. На все по все у него ушло несколько с невероятной быстротой промелькнувших секунд.

Не сказать, что Боровский меня не удивил.

Но Костик удивил меня не меньше. Он столь же бесшумно подкрался к приятелю бандита и, навалившись на того всем телом, сильно работая руками, принялся перекручивать ему шею. Какое-то время мы с Боровским молча наблюдали за его действиями. Наконец Боровский не выдержал и сказал мне:

— Что-то уж больно долго он с ним возится. Надо подстегнуть его.

— Сильней, еще сильней! — вскричали мы с Боровским. — Еще немного, еще чуть-чуть!

Бандит почти не сопротивлялся, только шипел, пучил глаза и пускал пену изо рта.

— Какая мерзость! — брезгливо морщился Боровский. — Я не выдержу, кончайте с ним скорее. Это ведь так просто! Может, вам помочь?

— Обойдусь как-нибудь! — кряхтел Костик.

— Непрофессионально работаете, старина. Хотите, я вам покажу, как надо?

— Как-нибудь обойдусь... Шея у него какая-то костлявая...

— Шея у него нормальная, просто душить не умеете! Представьте себе, что вы крутите шею рождественскому гусю.

— Отстаньте!

— Попробуйте просто оторвать ему голову. Сил у вас хватит.

— Не мешайте.

— Ни на минуту не забывайте, Костик, что вы какой-никакой ученый. Если упустите момент, когда его душа начнет отделяться от тела, наука этого вам не простит...

— Идите к черту!

— Экий вы, право, неумеха...

— Вот я и убил человека, — сказал Костик спустя минуту, слезая с трупа и с гадливой улыбкой рассматривая свои ладони.

— Вы только что убили последнюю надежду российского кино.

— Да будет вам...

— С почином вас, коллега, кстати, руки у вас не дрожали, — с уважением заметил Боровский, вытирая пилку носовым платком. — Вы, хотя и с оговорками, все-таки справились с задачей, мой юный друг, хотя никто вас об этом не просил. Я бы и этого кривонногого дублера голливудской кинозвезды укукошил. А вы не стали бы брать грех убийства на себя. А мне не привыкать, — загадочно заметил он. — Я столько людей порешил, правда, к сожалению, мысленно. Смотрите, Костик, не войдите во вкус. А то будете набрасываться на каждого встречного.

Боровский обошел обе кровати с лежащими на них трупами бандитов и остановился около кровати с бородачом.

— Вот этот мне нравится больше. Он словно уснул. Едва заметная полоска на шее его даже красит. Сразу видно, что работал профессионал. А ваш никуда не годится, вид жутковатый, — он театрально содрогнулся. — Посмотрите, пена изо рта. Вы так налегали на его шею, что она вытянулась. Взгляните! Вывалившийся серый язык, остекленевшие глаза, моча! И вонь! Последнее говорит о том, что он обделался. Это просто омерзительно! Помирать надо красиво! А тут — моча и кал... Ваш покойничек, в отличие от моего, позабыл оправиться. А вы не проследили! Это недопустимо! Смерть тогда хороша, когда она стерильна. Покойник и его убийца должны думать о тех, кому придется любоваться всей этой красотой. Вы же, Костик, этого не сделали, и вот результат! И мы с уважаемым коллегой Сапегой вынуждены все это лицезреть. Впрочем, первый блин всегда бывает комом. Но если вы поработаете над собой, наберетесь опыта...

— Борис Петрович! — Костик повеселевшими глазами посмотрел на Боровского. — Ничего не понимаю... Я и сам не знаю, как это получилось. Оказалось, это проще пареной репы. Странно, но я не испытываю ровно никаких эмоций, ни положительных, ни отрицательных. Словно убил не человека, а крысу, — Костик продолжал рассматривать свои руки.

Мне на ум пришли слова Тамары Владимировны: «Надо будет, убьешь». Может, она и Костику это говорила?

— Не пойти ли вам, милейший коллега, в профессиональные палачи, задатки у вас есть, — предложил Костику Боровский. — Впрочем, я тоже впервые убил человека. И тоже — никаких эмоций. Видно, наша профессия располагает к таким захватывающим выкрутасам.

— Думаю, дело в характере и предрасположенности. Насколько я знаю, вы как-то на охоте хладнокровно перерезали горло плачущему оленю. Не каждый бы смог.

— Да, опыт у меня есть, — согласился Боровский. — Но человек не олень. И потом, этот негодяй не плакал, а храпел. Смерть во сне, покойнику можно только позавидовать. Все-таки хорошо, что мы медики. Мы на смерть смотрим не так, как большинство людей.

— Вот бы кому следовало наняться в палачи, уважаемый Борис Петрович, — сказал Костик, хищно посматривая по сторонам.

— Куда вы смотрите?

— А вот ищу, кого бы еще придушить...

— Только не останавливайте взгляда на мне.

— Все это очень мило, — сказал Костик в раздумье, — но как мы отсюда выберемся? Ключей-то нет.

Боровский, отодвинув от двери кровать с трупом и опустившись на колени, принялся разглядывать замочную скважину.

— Света маловато... — сказал он.

— Достаточно, чтобы утром они увидели, что случилось с их коллегами. И тогда уж точно нам несдобровать. Вы не против, если я им скажу, что это вы их убили?

— Да, света маловато, — повторил Боровский, вставая. Он полез в карман. Достал связку ключей. — Может, подойдут, — он отрешенно посмотрел на меня, — чего не бывает...

Кряхтя и гремя ключами, он возился у дверей минут пять.

— Увы. У вас нет каких-нибудь ключей, Костик?

— Жена все отобрала.

— И ключи?

— Она с них начала.

Боровский подошел к куче ржавых инструментов.

— Это бесполезный хлам, — он повернулся ко мне: — Чует мое сердце, у вас за пазухой находятся ключи от счастья.

Я и ухом не повел. Мне хотелось насладиться моментом. Не одному же Боровскому срывать аплодисменты.

Я неторопливо поднялся, подошел к двери и вставил ключ от своей квартиры в замочную скважину. Костик и Боровский приблизились и, как замороженные, стали рядом. Я повернул ключ, раздался ласкающий слух щелчок.

— Господи! — сдавленно прошептал Костик.

Я с победоносным видом посмотрел на своих друзей, потом толкнул дверь... Еще раз и еще... Дверь не поддавалась.

— Подперли чем-то снаружи, падлы!

И тут мы услышали громкие голоса...

* * *

Боровскому всегда везло. Повезло и на этот раз. Смерть просквозила мимо. Видимо, и вправду так было угодно небесам. Повезло и нам с Костилом. Наверно, потому, что мы оказались рядом с Боровским. Бок о бок, так сказать, с избранником Бога, в его спасительной тени.

Кто мог подумать, что Никодимову удастся по пути к дому Боровских удрать и связаться со своими коллегами? Видно, недаром говорил генерал, что Никодимов — или как там его — один из лучших в Конторе. Поэтому до Клары Ивановны мерзавцы не добрались, их перехватили и обезвредили.

Нас освободили...

Когда, поддерживаемый санитарями, я шел к машине «скорой помощи», я услышал, как Боровский сказал Костику:

— Напрасно мы их прикончили, нас бы и так освободили.

— Нет, не напрасно, — с неожиданной жесткостью ответил Костик.

Эпилог

Я ушел из института. Я теперь на вольных, как принято говорить, хлебах. Работаю на договорах. Прибыльно. И необременительно. Полгода пробыл в Италии и Швейцарии. Встречался с разными субъектами, в том числе с теми, кого на дух не выношу. Но если хочешь обедать с шампанским и икрой, вытерпишь и не такое.

Вернулся только осенью. Узнал, что Боровский поменялся местами с Klarой Ивановной: она живет на Кутузовском проспекте, он — на даче в Селятине.

Я решил навестить его. Он тоже ушел из института, полностью сосредоточившись на работах на приусадебном участке.

Профессор с воодушевлением возделывает грядки с репой и культивирует кормовые культуры. Завел двух поросят и козу. Вся эта троица страшно воняет. Соседи негодуют. Боровский припугнул их приобретением в дополнение к вонючей троице коровы, и соседи притихли.

Он, гордясь, показывает мне свои достижения на ниве сельского хозяйства.

— Вот этого, Борьку, — он любовно похлопывает поросенка по сияющей на солнце жирной спине, — забью ко дню Великого Октября. Недолго тебе, братец, осталось. Пока

жив, ешь, насыщайся. Наслаждайся жизнью. А Ваську, — он гладит рукой другого, — я воспитал на молоке, ухаживал, как за сыном. Его, красавца и любимца, казню к Новому году. А из козы завтра сделаю шашлык, козлиный шашлык лучше бараньего, меня грузины научили. Мясо режешь на крупные куски, замачиваешь на ночь в мацони, разбавленном боржомом, добавляешь ложечку аджики... Вы только посмотрите на эту козлиную дочь, — воскликнул он, — она прислушивается, косит красным глазом, словно понимает, что кончина не за горами!

На крыльчке появляется Тамара Владимировна. На ней сарафан, какие носят по пивным праздникам баварские дамы. Из-за ее розового плечика выглядывает Костик. Оба приветливо машут мне.

— Они живут здесь постоянно, — шепчет Боровский. — В Москву, на работу, ездят на электричке.

— А как же Монте-Карло и альпийские озера? — напомнил я ему не без яда в голосе.

— К черту альпийские озера! То, чем мы здесь увлеклись, будет почище, — говорит он замирающим от восторга голосом, — всяких озер и игорных домов. Вот послушайте. Спим вместе, втроем, можете присоединиться, если хотите, — предлагает он. — Непередаваемо богатое ощущение. Мы, по мере сил и возможности, занимаемся статистикой, накапливаем данные, все подсчитывая и анализируя. Страшно трудная работа, требующая полной отдачи сил. Костик все записывает в разлинованную тетрадь, кстати, очень похожую на ту... словом, на ту, за которой гоняются мерзавцы из Организации.

— А как же его роман?

Боровский хмыкнул.

— Пока ему не до романа. Он так увлекся пороком...

— Может, стоит отправить его в Монте-Карло?

— Может, и стоит. Мне кажется, мы все здесь немного с приветом. Но жизнь наполнилась новым содержанием. Все-таки мы ученые, мы не должны об этом забывать даже в постели. Очень, очень сильные ощущения, сногшибательные страсти! Надо все испытать в жизни, не так ли? И не так уж долго мне осталось...

— Не гневите Бога, Боровский. Вы в расцвете сил.

— Шутить извольте, — смеется он, втягивая живот и выпячивая грудь.

В этот момент со стороны дороги доносятся звуки подъехавшего автомобиля.

Открывается калитка, и на дорожке, ведущей к дому, возникает грозная Клара Ивановна. Боровский вжимает голову в плечи.

Видно, что Клара Ивановна следит за собой: прическа а-ля мадам Помпадур — эфирная небрежность, простота и элегантность — по-прежнему украшает ее голову.

Она достает из хозяйственной сумки мятую, свернутую в трубочку тетрадь и, расправляя ее, вручает Боровскому.

— Эта?

— Спасибо, милая, — молвит Боровский подобострастно.

Клара Ивановна поднимается в дом и скрывается во внутренних покоях.

— Все загадили, паршивцы! — доносится оттуда ее громовой голос. — Ни на минуту нельзя отлучиться.

Мгновение, и что-то стеклянное с грохотом летит на пол. Из дома змейкой выскользывает Тамара Владимировна. Платье на ней сидит косо, одна бретелька висит ниже локтя.

— А у вас здесь не скучно, — замечаю я.

— Идемте в сад, — говорит Боровский.

В саду Боровский опускается на землю под старой яблоней.

— Вот она, вторая часть, в этой тетради. Садитесь рядом, здесь сухо. Знали бы вы, как я перепугался, когда эти мерзавцы поехали к Кларе.

— Значит, подлый вы человек, тетрадь все это время была у вас? Зачем весь этот театр?

Боровский потянулся и зевнул:

— А жизнь — и есть театр. Хорошо бы помереть неразгаданным.

— Как это?

— Каждый индивидуум — загадка. Но слаб человек. Вот и я слаб. Вы думаете, я не знал, кого прирезала эта сумасбродка, мадемуазель Корде? Я всегда всех надувал, дурил... очень мне это нравилось. Если хотите, это стиль жизни.

— Понимаю, разгуливать по институту без штанов...

— Когда жизнь скучна, обыденна и начинает вам приедаться, сойдет и это: разгуливай без штанов, сколько влезет, и вообще жизнь тогда будет привлекательна, если ее разбавить фантазией, сумасбродством, глупостями, шутками, розыгрышами. Тогда она заиграет, расцветится по-новому. Словом, жизнью надо управлять, а она, жизнь, сама любит диктовать, подчинять, принуждать... Хотя в редких случаях жизни можно подчиняться.

— Например?

— Любовь, — он опять потягивается, — любовь... Когда внутри тебя все бурлит, бешется, горячится, а голова меняется местами с детородным органом и ты ничего не соображаешь — надо подчиняться. Без любви никуда. Не подчинишься чувству, будешь потом, на склоне лет, локти кусать. Кстати, люди придумали много разновидностей любви. Но всегда ли это любовь? Любовь к местам, где ты вырос, то есть к родине, любовь ли это? Ну как сравнить, например, любовь к родителям с любовью к женщине? Я люблю всех. Этим я отличаюсь от остальных. Моя любовь всеобъемлюща, я люблю и вас, и Тамару Владимировну, и Костика, и даже Клару Ивановну люблю, люблю ее, дуру, несмотря на ее скверный характер. Она ведь так настрадалась со мной...

— Вас не поймешь, Боровский, — рассердился я.

— Я сам себя не понимаю. Но что поделать, если я люблю сегодняшний день, вашу скептическую улыбку, вот это мгновение, небо над головой, яблоню, под которой сижу. Любовь — это жизнь.

— Что слышно о ваших мучителях с самонагревающимися утюгами?

— Знаю, что вашего доктора Радлова взяли вместе с персоналом... А тот, что с арбузной головой, как и угадал наш Костик, помер еще до суда от сахарного диабета...

— Откуда эти сведения? От Тамары Владимировны?

Он кивнул.

— А Покорный?

— Покорный вернулся в институт. Как, впрочем, и Самсонов. Их теперь водой не разольешь.

— А главные? Мамыня, Кляка и Тибосик?

— Увы! Эти испарились. Видимо, у них отлично налажена служба оповещения и подслушивания...

— Все понятно, эти проходимцы продолжают где-то далеко за пределами нашей бескрайней родины строить планы завоевания мира. А Тамара Владимировна? Ей-то как удалось выйти сухой из воды?

— Свет не без добрых людей, — сказав это, Боровский одарил меня туманной улыбкой. — Думаю, она переспала с кем надо, ее и оставили в покое. Но сама она, похоже, никогда не успокоится... — он незаметно скосил глаза в сторону кустов.

— Видите, — шепчет он, — там притаилась Тамара Владимировна. Посмотрите, какой хищный у нее взгляд. Она вам говорила, что мечтает о яхте и замке с ливрейными слугами? Неугомонная... Она здесь временно, — продолжал шептать Боровский. — Это очевидно. Она тайно мечтает перебраться куда-нибудь, где зимой солнце не только светит, но и греет. Не исключено, если все пойдет, как я предполагаю, она дунет отсюда уже сегодня вечером. Конечно, нам с Костиком будет ее очень не хватать. Но что поделать, придется заменить ее Любашей, вашей бывшей секретаршей. Вы не против?

— Она Костика любит.

— Коли любит, значит, замена будет что надо... А Тамара Владимировна... я всегда говорил, что она роковая женщина, еще какая роковая! Я ей не верю. Даже в те святые мгновения, когда мы тут кувыркаемся втроем и она стонет, как лосиха во время случки, она фальшивит. Врет, стерва. Опасная дама. Поэтому необходимо принять меры... — сказал он, вставая и поворачиваясь в сторону кустов.

— Дорогуша! — крикнул он. — Хватит прятаться, лучше отнесите эту тетрадь в дом.

— Что вы делаете?! — вырвалось у меня.

— Успокойтесь, — прошептал он. — Я ее подменил, подсуну ей ту, в которую Костик записывал наши кувыркания... А ту, настоящую, мы сейчас сожжем...

Опять скользнула змеей Тамара Владимировна, выхватила тетрадь из рук Боровского и умчалась в сторону дома.

— Откройте секрет: где вы прятали тетрадь? — спросил я минуту спустя.

Он хитро посмотрел на меня.

— Никогда не догадаетесь. Мой дом потрошили несколько раз. И не только известные официальные службы, но и эти... из Организации с утюгами и шпагами. И все напрасно. Такое место...

— Не тяните!

— А все те полированные рога, что висели над кроватью в семейной спальне и которые моя благоверная заменила целлулоидным Иисусом, похожим на дикого африканца. Так вот, рога-то полые... тетрадь в трубочку, и все дела.

Мы долго стояли, молча наблюдая, как от сворачивающихся тетрадных листков, исписанных латынью и цифрами, застревая в кронах деревьев и частично тая там, упрямо поднимается к небу горьковатый дым.

Казалось, сгорает Зло.

Когда надоело смотреть, мы загасили огонь традиционным дедовским способом. Угольки шипели, не желая сдаваться.

— Вот и сгорела наша беда... — сказал Боровский, застегивая молнию на брюках, — будто и не было всего этого ужаса.

— Но он был...

— Да, был, — он задумчиво посмотрел на меня. — Бумажки превратились в тлен, но память, пока мы живы, будет хранить все это. И здесь, — он постучал себя пальцем по лбу, — кое-что осталось. Только бы не сойти с ума и не сорваться, когда моя всеобъемлющая любовь к людям иссякнет.

— О чем это вы? — насторожился я.

— Вот сойду с ума и продам свою память не тем, кому надо. Кстати, я вас тогда сильно напугал, когда сказал, что назвал негодяям ваше имя, обделавшись в присутствии Тамары Владимировны, вооруженной шпагой?

— Конечно, напугали.

— Так вот...

— Значит, не называли и не обделались?

— Нет-нет, обделался, но имени вашего не называл, я никогда не был предателем. Это одно из моих многочисленных положительных качеств. Таким уж я уродился, меня не переделать.

— Зачем вы все время играете?

— Как я уже только что говорил, это одна из особенностей моего характера: все превращать в шутку, в игру. Без игры жизнь тускнеет, и ее приходится расцвечивать искусственно. Чтобы заиграла в ответ.

— Вы сумасшедший...

— Чтобы выжить в этом мире, который неуклонно движется к всеобщему сумасшествию, надо быть...

— Надо быть самому немножко сумасшедшим?

— Разумеется! Как вы этого не поймете? Но, — Боровский хитро подмигнул мне, — персональное сумасшествие надо контролировать, чтобы окончательно не свихнуться.

— Все никак не нахожу времени спросить Костика, а лучше вас, как это он решился тогда...

— Придушить негодяя? Вы знаете, он не перестает меня удивлять. Оказалось, что он не такой уж и дурак, этот наш Костик.

— Себе на уме?

— Если бы только это. Он философ с претензией. Он недавно сказал, что один Бог знает, чем, как и где завершится наша жизнь.

— Тоже мне открытие!

— Конечно, никакое это не открытие. Конечно, наша судьба прописана тем, кому мы и в подметки не годимся. Это известно спокон веку. Но если ты приходишь к пониманию этого в самый тяжкий момент в жизни — в ту минуту, когда над тобой занесен топор, все это приобретает значение истины, открытой тобой лично. Не надо забывать, что мы сами о себе ни черта не знаем: для самих себя мы загадка, закрытая книга. Тогда, в том бетонированном склепе, Костик намеревался в соответствии со своими романтическими убеждениями, привычками, коротеньким жизненным опытом и безвольным характером сидеть сложа руки и ждать смерти. Но в какой-то момент с ним что-то произошло. Возможно, это работа сознания, духовное озарение, мгновенное перерождение, фатум, внезапный безотчетный порыв, или страх смерти, или жажда жизни — не знаю, что это было, но он решил все круто поменять. Полагаю, если кто и удивился тому, что с ним произошло, так это он сам.

— Костик собрал в кулак свою дырявую волю и схватил за горло негодяя — вот что это было!

— Он схватил за горло не негодяя, а Судьбу.

— То есть он решил пойти против предписанного свыше?

— Какой же вы, однако... примитив! Все, что он тогда сделал, тоже прописано на небесах. Это ведь так просто! Правда, теперь ему чуть ли не каждую ночь снится убитый. И это понятно, он же так некрасиво его душил! Смотрит все время на свои руки и часто моет их. Да, грех не отмоешь мылом... Да, пожалуй, вы правы, надо отправить его в Монте-Карло. Деньги у меня есть. Сниму ему номер с видом на море. Пусть сидит, смотрит на восходы и закаты и мечтает о справедливости.

— А вы?

— Что я?

— Вам снится что-нибудь?

— Увы, я вообще не вижу снов, — с грустью сказал он. — Кстати, как ваши семейные дела? Что Сашенька, Лизонька?

— Все, как у людей, — быстро ответил я. — Все, как у всех. Притираемся помаленьку.

Боровский сказал, что одна из особенностей его характера все превращать в шутку, в игру. Без игры жизнь тускнеет, и ее приходится расцвечивать искусственно. Чтобы заиграла в ответ. Я не Боровский, но превращать все в шутку умею и я. И ничуть не хуже Боровского, а может, даже лучше. Просто я никогда это не афишировал.

Тамара Владимировна ждала меня в баре аэропорта Шереметьево. Она была одета подчеркнута скромно, но, возможно, именно этим она и привлекала к себе внимание мужчин. Тамара Владимировна — это воплощенное коварство, полное безразличие к судьбам других людей. Она получеловек в обличье очаровательной женщины, от которой у многих и сейчас, несмотря на то, что она уже далеко не молода и не свежа, может закружиться голова. Адово отродье. Она мне нравится. Может, в ней есть то, чего всегда недоставало мне?

— Ловко же надул меня Боровский, — проворчала она, — хорошо, что у тебя все в голове. Если бы не ты, я бы улетела с этой дурацкой тетрадкой...

— Когда-то ты сказала мне, что нам друг без друга — никуда.

— Нас ждут в отеле ровно в шесть.

— Успеем?

— Даже если опоздаем на неделю, нас будут ждать.

* * *

Тамара Владимировна никогда не скрывала ни от Боровского, ни от меня, что мечтает иметь личный самолет, яхту и замок на юге Франции, райском месте с фонтанами, кипарисами, терпким вином урожая 2012 года, оливковыми деревьями и садами, где дважды в году можно снимать урожай персиков, инжира и черешни. Я всегда мечтал о том же. Мои мечты, мечты о рае на земле, постепенно сбываются. Недавно я купил у одного могилевского бандита небольшой замок на берегу Луары. Кстати, там есть вертолетная площадка. Два бассейна. Восемнадцать комнат. Библиотека. Два роля. Черный и белый. Кинозал. Бильярдная. Сауна. И много всяких иных прелестей. Сейчас там идет ремонт: надо немного освежить интерьер, загаженный малолетними отпрысками вышеуказанного бандита.

Когда-нибудь я перевезу сюда Лизу и Сашу. Думаю, долго уговаривать их не придется. Пройдет какое-то время, и утихнет пандемия сумасшествия, неожиданно разгоревшаяся полгода назад в Бургундии. Это работа Организации.

Я могу без труда загасить пламя пандемии. Была и третья тетрадь. Об этом не знали ни покойный Крылов, ни ныне здравствующий Боровский, ни мерзавцы, руководящие Организацией. Мне удалось, разбив Формулу на несколько неравных частей, вышибить при помощи Тамары Владимировны из Организации очень и очень солидные деньги. Но о третьей части я, естественно, умолчал. Это мой козырь. Оказалось, что можно быть и подонком, и чуть ли не святым — одновременно.

Я живу на два дома. Приятно после долгих лет холостяцкой жизни и частичного одиночества ощутить себя членом сразу двух семей.

В Москве у меня семья, о которой я и не мечтал. Все вдруг и сразу. Лиза выздоровела, как и предсказывал профессор Бутурлин. Правда, она не стала учиться танцам, говорит, что за сверстниками ей не угнаться, а быть не первой она не хочет; она занимается йогой, много читает и любит в непогоду одна бродить по набережным. Чем-то она напоминает меня, я тоже был не в меру мечтателен и романтичен в ее годы. Как-то раз я увязался за ней, и мы с ней под морозящим дождем прошагали по Краснохолмской набережной аж до Саринского проезда. Ее лицо светилось, глаза были

полны счастья, в них можно было увидеть разгорающийся юный огонь и пока еще не побежденную печаль. После долгих лет затворничества она медленно входит в новую для нее жизнь. Пройдет время, и, я надеюсь, у нее появится спутник, какой-нибудь юнец с неувлимым взглядом и грязными волосами. Которого она полюбит, себе на беду. Она пройдет через испытание любовью, изменами, потерями. Будут у нее и взлеты, и падения. Словом, у нее будет все, чем богата жизнь. И это прекрасно. Кстати, ее пальчики каким-то необъяснимым образом похудели, вытянулись, заострились и стали походить на мои — пальцы музыканта. Она красива. Такой была ее мать, когда я впервые увидел ее на студенческой вечеринке.

Саша вновь стала заниматься врачебной практикой. Ее брат пошел на поправку и живет вместе с нами.

Когда выпадает свободное время, мы все вместе ходим по выставкам, музеям, паркам, ресторанам и театрам. Никогда не ссоримся. Словом, идеальная семья. Чтобы ценить покой и счастье, видно, надо прежде испытать что-то, счастьем противоположное.

Изредка, когда мне наскучивает семейное благополучие, я отлучаюсь из дому на несколько дней. Меня куда-то тянет, куда и зачем — и сам не знаю. Где я пропадаю, что я делаю, не знает никто, кроме Тамары Владимировны, живущей на Лазурном берегу. Эти дни не выпадают из жизни, как выпадали прежде целые годы, когда я по многу пил и тратил невозвратное время на неверных любовниц, на созерцание своего пупа в ожидании его маячного свечения и на пустые разговоры о смысле жизни. Да, они не выпадают из жизни. Но и толку от этих дней никакого.

...У меня и Тамары Владимировны есть любимый ресторан.

Мы сидим в мягких кожаных креслах, устремив сонные глаза в сторону моря, и потягиваем легкое вино. Покой, похожий на болезнь, разлит в пространстве.

— Моя страна, которую я люблю и ненавижу, летит из прошлого в неведомое завтра, — говорю я, чтобы что-нибудь сказать, — летит без руля и без ветрил и будет лететь, пока не остынет земля. И я буду лететь вместе с ней, мечтая о рае и с покорностью отдаваясь всеведущей судьбе, помня о том, что от человека мало что зависит, а если и зависит, так только то, что угодно Господу.

— Ты стал изъясняться лозунгами, — сердится Тамара Владимировна, не отрывая взгляда от моря.

В таком полусонном состоянии проходят дни.

Я стал чаще смотреться в зеркало. Я все больше и больше становлюсь похожим на Боровского. Иногда мне кажется, что оттуда, из Зазеркалья, на меня смотрит мой слегка помолодевший друг. Тамара Владимировна заметила мои манипуляции у зеркала и неодобрительно покачала головой.

— Милый, что с тобой творится?

— Я слышу с детства, — говорю я, — одно и то же: надо жить. А зачем, объяснил бы кто. Такова жизнь...

— Наплюй, — говорит она, — не забудь, завтра мы едем осматривать новую яхту.

— Я слышу с детства, — повторяю я, — одно и то же: надо жить. А зачем, объяснил бы кто...

Наконец яхта куплена. Я уезжаю в Москву.

— Весь мир у твоих ног, — говорю я, входя в дом, где меня любят и ждут, — и ты даже не знаешь, что с ним делать, и это самое приятное.

Да, весь мир.